

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ ИВАНА ОГИЕНКО

На правах рукописи

Мельничук Ирина Николаевна

УДК 821.161.1Дос – 054.6

ОБРАЗЫ ИНОСТРАНЦЕВ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО В  
КОНТЕКСТЕ ЕГО «ПОЧВЕННИЧЕСКИХ» ИДЕЙ

Специальность 10.01.02 – русская литература

Диссертация на соискание ученой степени  
кандидата филологических наук

Научный руководитель:  
Титянин Константин Алексеевич,  
кандидат филологических наук, доцент

Каменец-Подольский, 2016

## Содержание

Введение.....	4
Раздел 1. Проблемы изображения инонациональной среды в творчестве Ф. М. Достоевского: историографические и теоретико-методологические аспекты .....	11
1.1 Основные векторы научного изучения проблем национального в творчестве Ф. М. Достоевского.....	11
1.2 «Свой – чужой» в литературе: методологические проблемы с проекцией на творчество Ф. М. Достоевского.....	21
1.3 Идеология «почвенничества» и антропология Ф. М. Достоевского .....	29
Выводы к разделу 1.....	46
Раздел 2. «Реальные» и «условные» иностранцы в творчестве Ф. М. Достоевского.....	48
2.1 Общее и отличное в образах «реальных» иностранцев в произведениях Ф. Достоевского .....	48
2.2 Тип «условного» иностранца в произведениях Ф. Достоевского.....	76
2.3 Феномен «русского иностранца» в произведениях Ф. Достоевского.....	86
Выводы к разделу 2.....	110
Раздел 3. Идеал «всечеловека» и «всечеловеческого организма» в контексте «почвеннических» идей Ф. М. Достоевского.....	112
3.1 Россия и Запад в представлении Ф. М. Достоевского: теоретические и практические возможности синтеза двух систем мировосприятия.....	112
3.2 «Детское сознание» в интерпретации Ф. М. Достоевского как идеал и критерий «всечеловечности».....	133
Выводы к разделу 3.....	143
Раздел 4. Поэтико-стилевые особенности изображения иностранцев в художественных произведениях и публицистике Ф. М. Достоевского .....	144

4.1 Языковые средства реализации оппозиции «свой – чужой».....	144
4.2 Нарративные принципы создания образов иностранцев в художественной прозе и в публицистике Ф. Достоевского .....	163
Выводы к разделу 4.....	174
Выводы.....	176
Список использованных источников.....	184

## ВВЕДЕНИЕ

Проблемы, связанные с национальным самосознанием в творчестве Ф. М. Достоевского, вызывают в последние три десятилетия устойчивый интерес ученых-гуманитариев разного профиля. Интерес этот во многом задан атмосферой поиска в современном обществе критериев этнической идентичности, выработки национальной стратегии, сложной социальной атмосферой, в которой возможны и гипертрофированные проявления феномена национального. Ф. Достоевский в этой связи воспринимается как писатель, поставивший данные проблемы исключительно глубоко и в то же время крайне противоречиво. Выдвинутый в свое время Ф. Достоевским комплекс идей, связанный с идеологией так называемого «почвенничества», в зародыше содержал в себе глубинные противоречия, на которые указывают и современные исследователи (А. В. Гулыга, А. Валицкий, В. К. Кантор, Т. О. Касаткина, Л. И. Сараскина, Дж. П. Сканлан и др.). Весьма неоднозначно оцениваются сегодня и «пророчества» Ф. Достоевского относительно исторической судьбы России и ее «спасительной» духовно-религиозной роли в мире: одни считают, что эти пророчества вполне оправдались (М. М. Дунаев [54]), а другие категорически это отрицают (В. И. Мильдон [118]).

Отмеченная сложность постановки Ф. Достоевским проблем национального объясняет стремление исследователей осмыслить ее возможно более широко – в историко-философском, культурологическом и философско-эстетическом ракурсах. Среди литературоведческих работ, так или иначе имеющих отношение к этой проблеме, следует выделить исследования последних трех десятилетий, посвященные «почвенничеству» (А. В. Богданов, А. Н. Кулагина, А. Лазари, О. Седельникова, С. К. Трофимов и др.), а также работы, затрагивающие более широкий круг национально-религиозных проблем творчества Ф. Достоевского (В. В. Борисова, В. К. Кантор, А. И. Сыромятников, В. С. Сизов, Б. Н. Тарасов и др.). В них акцентируется,

что противоречия «почвеннической» идеологии относятся к фундаментальным противоречиям всего наследия Ф. Достоевского, имеют глубинную связь с философско-антропологической парадигмой писателя, выводят на ее архаико-мифологические начала. Вместе с тем собственно литературоведческий ракурс рассмотрения парадигмы русского и инонационального в произведениях писателя остается на периферии современного достоевковедения, поскольку художественно-эстетические и поэтико-стилевые аспекты указанных проблем для авторов упомянутых работ не являются определяющими.

Между тем творчество Ф. Достоевского в данном ключе исследования требует прежде всего учета эстетической природы художественного образа, форм его «зависимости» от своего возможного идеологического первоисточника, в том числе от авторских «дотекстовых» интенций. Выяснение художественно-эстетической специфики образов иностранцев в произведениях писателя в специфическом поэтико-стилевом воплощении создает возможности для того, чтобы, во-первых, разграничить дискурс Достоевского-человека и Достоевского-художника о представителях разных национальностях и, во-вторых, выявить глубинный смысл и место образов иностранцев в художественной персониферии писателя. В теоретическом плане основания для такого рода исследования дает трактовка Теодором Адорно «просветительской» роли эстетических объектов: по его мнению, они могут выполнять такую роль, потому что «не лгут, не симулируют буквальности того, что через них говорит...» [1, с. 15].

Таким образом, актуальность диссертации обусловлена недостаточностью изучения специфики изображения инонациональной среды Ф. Достоевским и необходимостью выяснения художественно-эстетических особенностей и различий образов иностранцев в художественных и публицистических произведениях писателя.

**Связь работы с научными программами, планами, темами.** Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской работы кафедры германских языков и зарубежной

литературы Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко в рамках комплексной научной темы «Поэтика и типология литературных жанров». Тема диссертации утверждена ученым советом Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко (протокол № 12 от 30 декабря 2009 г.) и одобрена бюро научного совета по проблеме «Классическое наследие и современная художественная литература» Института литературы имени Т. Г. Шевченко НАН Украины (протокол № 3 от 29 апреля 2010 г.).

**Цель работы** – выявить художественно-эстетическое своеобразие и идейно-функциональный статус образов иностранцев в произведениях Ф. М. Достоевского в контексте его «почвеннических» идей и в соотношении с русскими персонажами.

Под «русскими персонажами» мы имеем в виду тех героев Ф. М. Достоевского, которые в наибольшей степени отвечают сущности «почвеннической» идеологии писателя, а под «русскими иностранцами» тех, что «оторвались» от народа, потеряли связь с родной землей.

Реализация данной цели обусловила необходимость решения следующих **исследовательских задач:**

- исходя из общей антропологической установки писателя и его опоры на «натуру» человека, соотнести архаико-мифологический уровень дихотомии «свои – чужие» с бинарной оппозицией «русские – иностранцы» у Ф. Достоевского;

- сопоставить характеристики иностранцев в художественных и публицистических произведениях Ф. Достоевского;

- проследить общее и отличное в образах иностранцев, представляющих разные национальные менталитеты;

- описать феномен «русского иностранца» в контексте «почвеннических» идей Ф. Достоевского;

- выявить критерии идеала «всечеловека» и «общечеловеческого организма» в интерпретации Ф. Достоевского;

- определить природу и возможные пути разрешения конфликтов между русскими и иностранными персонажами в произведениях Ф. Достоевского;
- проанализировать поэтико-стилевые средства создания образов иностранцев в романах Ф. Достоевского.

**Предмет исследования:** семантика и идейно-художественные функции образов иностранцев в творчестве Ф. Достоевского, проявляющиеся в поэтико-стилевых и структурно-нарративных особенностях их изображения.

**Объект исследования:** корпус художественных и публицистических произведений «почвеннического» периода Ф. Достоевского (1860-1881), содержащие образы иностранцев, а также «русских иностранцев» в субъективном понимании писателем этих двух групп персонажей.

**Теоретико-методологическая концепция** диссертации основывается на идее относительной автономности (имманентности) литературного произведения и художественного образа, их референционно-опосредованной связи с идеологическими установками писателя. В формировании методологических установок диссертации в плане выявления различий в изображении иностранцев в художественных и публицистических произведениях писателя существенную роль сыграла концепция М. Бахтина о полифоничности романов Ф. Достоевского, в которой акцентировалось нетождественность «художественных» и «публицистических» высказываний писателя и подчеркивалась невозможность сведения авторской позиции к точке зрения какого бы то ни было персонажа произведения. В работе «Проблемы поэтики Достоевского» исследователь акцентирует, что «идеи самого Достоевского, высказанные им в монологической форме вне художественного контекста его творчества (в статьях, письмах, устных беседах), являются только прототипами некоторых образов идей в его романах. Поэтому совершенно недопустимо подменять критикой этих монологических идей-прототипов подлинный анализ полифонической художественной мысли Ф. Достоевского. Важно раскрыть функцию идей в полифоническом мире Ф. Достоевского, а не только их монологическую субстанцию» [11, с. 155].

Важное значение для исследования имели труды по теории литературы М. М. Гиршмана, Д. С. Лихачева, Д. С. Наливайко, Ю. Н. Тынянова, Б. А. Успенского, Д. И. Чижевского, В. Шмида; студии проблем национального и этнического в современной гуманитаристике (Г. Д. Гачев, Э. Д. Смит, Э. Дж. Гобсбаум, М. Элиаде); исследования, посвященные творчеству Ф. Достоевского (В. Е. Ветловская, И. Л. Волгин, Т. А. Касаткина, Н. А. Колосова, Р. Н. Поддубная, Л. И. Сараскина, К. А. Степанян, В. А. Туниманов и др.).

**Методы исследования.** В диссертационной работе интегрируется комплекс современных подходов, методов, главными из которых являются идеи и принципы традиционного культурно-исторического метода, учитывающего общекультурологические, социологические, психологические аспекты изучения литературного наследия Ф. Достоевского, а также установки компаративной имагологии. Типологический метод используется для выявления основных типов иностранцев в художественной прозе и публицистике писателя. Нарратологический подход к произведениям Ф. Достоевского применяется для анализа их повествовательной структуры, соотношения авторской и чужой речи, выявления разных точек зрения на проблему и установления неоднозначности авторской позиции. Контекстуальный анализ позволил проанализировать образы иностранцев, во-первых, в границах локального контекста (что особенно значимо, если определенные характеристики представителей инонациональных сообществ отмечены категоричностью и предвзятостью со стороны нарратора или высказывающегося персонажа); во-вторых, в пределах макроконтраста, т.е. включающего внелитературные источники, в частности публицистику писателя, его письма и частные высказывания, что позволяет проводить соответствующие сопоставления и выстраивать верификационную составляющую проблемы.

**Научная новизна работы** заключается в том, что образы иностранцев в идейно-художественной системе Ф. Достоевского-«почвенника» впервые рассмотрены в контексте и сквозь призму их восприятия русскими



персонажами, для которых отношения с иностранцами – своеобразное испытание на способность к становлению, движению к идеалу «всечеловека». Проведено последовательное сопоставление и установлены различия в изображении иностранцев в художественных и публицистических произведениях писателя. Впервые определены пути решения конфликтных ситуаций между иностранцами и русскими в творчестве Ф. Достоевского, что позволило углубить литературоведческое осмысление понятия «русский иностранец»; выявлены специфические поэтологические средства создания образов иностранцев и «русских иностранцев».

**Теоретическое значение:** выводы данной работы могут быть основанием для формирования более точного представления о соотношении мировоззрения писателя и его художественного творчества.

**Практическая значимость диссертации.** Материалы и выводы исследования могут быть использованы в вузовских лекционных курсах по истории русской литературы, в спецкурсах и спецсеминарах по творчеству Ф. Достоевского, при написании курсовых работ, квалификационных и диссертационных исследований.

**Апробация результатов работы.** Отдельные разделы и текст диссертации в целом обсуждались на кафедре германских языков и зарубежной литературы Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко. Основные положения исследования были изложены в докладах, прочитанных на семинарах, конференциях, форумах регионального, республиканского и международного уровней. Среди них: Международная научная конференция «Литература в диалоге культур» (Ростов-на-Дону, 1-4.X.2009), Международная научная конференция «Мультикультурализм в перспективе литературоведческой антропологии» (Черновцы, 23.X.2009), Международная научная конференция «Поэтика мистического» (Черновцы, 7-8.X.2010), IV Международная научная конференция «Мова, культура і соціум в гуманітарній парадигмі» (Каменец-Подольский, 28-29.X.2011); Международная научная конференция «Sharing the results of research towards closer global convergence of

scientists» (Монреаль, 7.III.2014), Международная научная конференция «Развитие современного образования и науки: результаты, проблемы, перспективы» (Дрогобич, 26-27.III.2015), VI Международная научная конференция «Мова, культура і соціум в гуманітарній парадигмі» (Каменец-Подольский, 24-25.IV.2015); II Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Знаменские чтения: Филология в пространстве культур» (Тобольск, 22-23.X.2009); Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы филологического образования в школе и вузе» (Орск, 20.IV.2011), Всеукраинская научная конференция молодых ученых, посвященная 92-й годовщине основания КПНУ им. И. Огиенка (Каменец-Подольский, 22.X.2010), отчетные конференции преподавателей, докторантов и аспирантов КПНУ им. И. Огиенка (Каменец-Подольский, 2009-2012).

**Публикации.** Основные положения и результаты диссертации изложены в 14 работах. Среди них: статьи, напечатанные в ведущих специализированных изданиях Украины (5); в журналах и научных сборниках, изданных за рубежом (5); 4 – в научных изданиях.

**Структура работы.** Диссертационная работа состоит из введения, четырех разделов, включающих в себя подразделы, выводов, списка использованной литературы (211 источников). Общий объем диссертации составляет 202 страниц, в том числе 183 страниц основного текста.

## РАЗДЕЛ 1

# ПРОБЛЕМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИНОНАЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

### 1.1. Основные векторы научного изучения проблем национального в творчестве Ф. М. Достоевского

Особенности изображения иностранцев в творчестве Ф. М. Достоевского – как художественном, так и публицистическом, в том числе в контексте более общей проблемы соотношения русского – инонационального, давно привлекают внимание исследователей. В более или менее развернутой форме постановка данной проблемы встречается уже у современников Ф. Достоевского и представителей ближайшего к нему поколения литераторов и философов – В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, В. В. Розанова и др. На рубеже XIX – XX веков преобладала точка зрения, согласно которой Ф. Достоевский выразил самое существо двойственного русского духа и в тоже время противопоставил русскую идею как идею всечеловеческого единения западному духу индивидуализма и стяжательства. Кроме названных выше мыслителей, об этом писали также Н. О. Лосский, С. Н. Булгаков, В. В. Зеньковский. Все они, так или иначе, подчеркивали противоречивость Ф. Достоевского в отношении к этой проблеме. Наиболее определенно об этом сказал Н. А. Бердяев: «С одной стороны, он решительный универсалист, для него русский человек – всечеловек, призвание России мировое, Россия не есть замкнутый и самодовлеющий мир. Ф. Достоевский наиболее яркий выразитель русского мессианского сознания. Русский народ – народ-богоносец. Русскому народу свойственна всемирная отзывчивость. С другой стороны, Ф. Достоевский обнаруживает настоящую ксенофобию, он терпеть не может евреев, поляков, французов и имеет уклон к национализму. В нем отражается двойственность русского народа, совмещение в нем противоположностей» [14,

с. 68]. Об этом же, но не столь категорично говорит и известный философ В. В. Зеньковский: «В Достоевском, однако, не было узкого *национализма*; то, что кажется таковым, вырывалось у него и минуты раздражения и смягчалось скоро, – „всечеловечество” у Достоевского было глубоко и подлинно...» [66, с.117] (выделено автором. – И.М.).

В XX веке, особенно во второй его половине, появилось достаточно много работ исследователей, ставивших как в целом проблему национального в творчестве Ф. Достоевского, так и изучавших отдельные образы иностранцев в его произведениях. Преобладающим в этих работах был подход, который можно назвать историко-культурным, то есть изучение данной проблемы велось в широком гуманитаристическом контексте и с привлечением методов социологии, политологии, культурологии.

Проблема национального у Ф. Достоевского в общем ее значении поднималась в работах В. В. Борисовой [19, 20], И. И. Гарина [33], Г. Д. Гачева [34], А. Н. Кошечко [87], С. В. Оболенской [131; 132] и др. По мнению В. В. Борисовой, «важнейшей особенностью национального в художественном мышлении Ф. Достоевского является его мистическая (в силу предопределенности религиозным началом) обусловленность, что определило интерес писателя прежде всего к стихийным проявлениям национальной жизни и психологии, иррациональным глубинам национального духа, метафизическим особенностям национальной веры...» [20].

В контекст важных философско-антропологических проблем ставит творчество Ф. Достоевского А. Н. Кошечко в своей докторской диссертации «Формы экзистенциального сознания в творчестве Ф. М. Достоевского», подчеркивая значимость экзистенциального понятия «другой», которое постоянно эксплицируется в текстах писателя. Так, исследовательница отмечает «частотность словоупотребления понятия „Другой”» в произведениях Ф. Достоевского, а именно, в художественных текстах – 3342, в личной переписке – 814, общее количество упоминаний – 5296 [87, с.187]. Понятно, что далеко не все, связанное с концептуализацией феномена «другого»,

соотносится с образами иностранцев, однако следует учесть, что данный концепт «строится на важной идейной установке, что культура начинается с запрета наносить вред любому человеку, и ближнему и дальнему (в православной культуре, на которую ценностно ориентирован писатель, этот нравственный закон межличностной коммуникации закреплён в виде заповедей), а завершается внутренним повелением творить ему благо и любить его...» [87, с.186]. Такая постановка вопроса согласуется и с высказываниями самого Ф. Достоевского (ср., например, в «Записной книжке 1863-1864 гг.»: «...Человек изменится не от внешних причин, а не иначе как от перемены нравственной» [50, т.20, с. 171]).

Весьма критически оценивает позицию Ф. Достоевского в отношении к Западу и иностранцам С. В. Оболенская в работе «Русские и европейцы. Поиски русской национальной идентичности у Достоевского». В результате рассмотрения различных аспектов изображения иностранцев в художественных произведениях и в публицистике писателя, она делает вывод, что «русскость обретается через отрицание „чужого“, а мессианизм русской национальной идеи Ф. Достоевского делает это отрицание непримиримым и агрессивным, что не слишком сочетается с тезисом о „всепримиримости“ и „всечеловечности“ русских. Как во всех национальных идеях крупных народов, в ней, несомненно, содержались ростки национализма и шовинизма» [132, с. 300].

Характерно, что и многие работы зарубежных исследователей свидетельствуют о сложном отношении Ф. Достоевского и его героев к Западу. Так, в известном труде немецкого культуролога и литературоведа Эриха Ауэрбаха «Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе» подчеркивается «неукротимый пыл, с которым европейский дух безоговорочно и абсолютно принимался или отвергался» героями писателя [7, с. 514]. Как самый яркий пример такого отношения исследователь называет позицию Ивана Карамазова, героя «великого романа», по определению исследователя.

Типологические аспекты образа иностранца в русской литературе рассматривает А. П. Забровский [62], однако, к сожалению, в его статье вовсе не нашлось места для Ф. Достоевского – в ней не упомянуто даже имя писателя.

Из украинских исследователей творчества Ф. Достоевского вопросы типологии инонациональных образов и специфики романной поэтики на фоне публицистики писателя в той или иной степени затрагивались в исследованиях Н. А. Колосовой [86], Д. С. Наливайко [121], Р. Н. Поддубной [142]. В частности, Р. Н. Поддубная в небольшой, но весьма содержательной статье, прослеживает проникновение публицистических элементов художественного мышления в романную поэтику писателя, что оказывается фактором ее жанрового своеобразия, обуславливая, таким образом, становление идеологического романа. Что касается конкретных образов иностранцев в произведениях Ф. Достоевского, то, как правило, объектом исследования в упомянутых работах являются персонажи, которые принадлежат к нескольким национальным ячейкам: немцы, французы, англичане, евреи и поляки. Такая выборочная совокупность определена их частым фигурированием в произведениях Ф. Достоевского, а также общей связью с вопросом межнациональных отношений, с основными национальными вопросами его времени (в первую очередь «польским», «еврейским», «немецким»).

В. П. Владимирцев [30], Н. Я. Данилевский [46], В. К. Кантор [75], М. Г. Гиголашвили [36; 37], В. Крюкова [94], С. В. Оболенская [131] рассматривали образы немцев в творчестве писателя; образы французов привлекали внимание Г. Ю. Лазновской [104], С. Мацкевича [113], Г. С. Померанца [144]; о персонажах английского происхождения писали З. С. Канонистова [73]; Г. С. Померанц [144], В. П. Шестаков [193]; «польским» и «еврейским вопросом» занимались В. Винчел [29], З. Калужиньский [72], Б. Лаговский [102], Е. Стемповский [168], Н. А. Бердяев [14; 15], Ч. Милош [115, 116], В. С. Соловьев [166], А. Е. Левинтов [108], Н. Н. Наседкин [122] и др.

Поскольку названные выше исследования отличаются преимущественно общим характером, остановимся на характеристике образов представителей отдельных национальностей у Ф. Достоевского.

Немцы у Ф. Достоевского рассматривались главным образом как национальный тип (стереотип). В таком плане они охарактеризованы в работе Н. В. Бутковой, отмечавшей и привлекательные черты немца (его «человеколюбие, доброту» и «работоспособность»), и отталкивающие («практицизм и меркантилизм») [23]. Подобного рода противоречия в национальном характере нельзя назвать слишком резкими, поэтому неудивительно, что в статьях М. Г. Гиголашвили этот комплекс немецких качеств выглядит уже более монолитным: «честность, зажиточность, систематичность, умение трудиться» [36; 37].

Образы французов и англичан весьма многочисленны в художественных произведениях Ф. Достоевского, но более или менее детально они рассматривались лишь в некоторых работах историков Г. Ю. Лазновской [104] и З. С. Канонистовой [73], а также культуролога В. П. Шестакова [193]. Для этих авторов персонажи Ф. Достоевского выступали свидетельствами, знаками определенных культурных и исторических тенденций, поэтому их художественная специфика почти не учитывалась. Исключение составляет ряд статей С. А. Кибальника. Хотя они в основном посвящены генеалогии образа мистера Астлея в романе «Игрок», исследователь затрагивает также в целом проблему «интеркультурного дискурса» в этом произведении, затрагивающего весьма широкий круг авторов и текстов – от Диккенса и до Бальзака и Жорж Санд. Исследователь подробно описывает характер парадоксальных отношений между мистером Астлеем, который «обрисован в соответствии с этнокультурным гетеростереотипом англичанина, который сформировался в русской культуре к середине XIX в.», и нарратором Алексеем Ивановичем, делая вывод, о том, что при все обоюдной симпатии, между ними образуется «пропасть», которая «имеет не социальный и психотипический, а интеркультурный характер» [81].

В статье С. А. Кибальника подробно рассмотрены также интертекстуальные источники романа «Игрок», связанные, в частности, и с французской литературой. Справедливости ради нужно сказать, что о прекрасном знании Ф. Достоевским французской истории и литературы говорил еще В. Б. Шкловский в своей работе 1957-го года «За и против. Заметки о Достоевском», подчеркивая, что после посещения «новой» Франции вследствие буржуазных революций конца XVIII – первой половины XIX века его восхищение Францией, прежде виденной сквозь призму восторженно воспринятых произведений Бальзака, Гюго, Жорж Занд, сменилось жестоким разочарованием, что и передают «Зимние заметки о летних впечатлениях» [194, с. 142-143].

Образ поляка у Ф. Достоевского тоже осмыслялся исследователями как национальный стереотип, но преимущественно с негативным оттенком. Последнее объяснялось религиозными, идеологическими и этико-психологическими причинами. Наиболее распространенное объяснение сводилось к указанию на специфику отношения Ф. Достоевского к католицизму. Русский писатель видел в католицизме нехристианское стремление к господству над всем человечеством, что проявлялось и на личностном уровне его персонажей-поляков – в их непомерной гордыне, «гоноре» (З. Калужиньський [72], С. Мацкевич [113], Ч. Милош [115], Е. Скалинская [160], Я. Углик [182], отчасти М. Швидерска [208], Д. П. Бак [8]).

Весьма подробно характеризует причины резко отрицательного отношения Ф. Достоевского к полякам и утрированного их изображения в произведениях писателя польский исследователь Яцек Углик. Он рассматривает эту проблему в трех аспектах – «политическом, этическом и религиозном» – и приходит к выводу о том, что Ф. Достоевский намеренно прибегнул к созданию «искаженного образа поляка» [182, с. 148]. Завершает свое исследование автор риторическим и весьма обоснованным вопросом: «остается открытым вопрос, почему грешник Достоевский, несмотря на все, не преклонился перед грешными поляками, почему не оказал им столько сердечности и сочувствия,



сколько Соня Мармеладова оказала Раскольникову – изначально так же гордому и непреклонному духом как поляки?» [там же, с. 149]. Остается только добавить, что Я. Углик оставляет в стороне эстетико-художественные аспекты изображения поляков у Ф. Достоевского и не видит, таким образом, путей разрешения конфликтов между русскими и поляками в произведениях писателя, что предполагается осуществить в нашем исследовании.

В негативном ключе воспринимались многими авторами и образы евреев у Ф. Достоевского (образы эти представлены в «Дневнике писателя», очерковых произведениях, письмах, но редко – в художественных произведениях). Н. А. Бердяев [14], В. Винчел [29], С. Динкевич [48] считали возможным прямо говорить о ксенофобии (антисемитизме) писателя. Однако другие авторы обращали внимание, во-первых, на настойчивое разграничение самим Ф. Достоевским сфер «еврейского» (собственно национального) и «жидовского», которое писатель считал чем-то вненациональным и «враждебным» «всему миру», связанным по его словам, с ростовщицеством, «истреблением лесов <...> монополией в промышленности, финансах <....> и подготовкой разрушительной социальной революции» (Н. Н. Наседкин [122]); во-вторых, обращали внимание на личное гуманное отношение Достоевского к евреям (С. В. Белов [12]); и, в-третьих, на необходимость учитывать художественно-идеологический контекст высказываний о евреях (А. А. Панченко [138]).

Все названные выше авторы (кроме М. Швидерской) интересовались характером восприятия отдельных национальных групп в творчестве Ф. Достоевского; они не ставили задачи представить обобщенный образ иностранца и, соответственно, мало внимания обращали на значимость «почвеннического» контекста в этом случае.

Работу польско-немецкой исследовательницы М. Швидерской в этом обзоре литературы следует поставить на особое место, так как только в ней ставится задача изучения образов иностранцев в творчестве Ф. Достоевского примерно в том же плане, как и в нашем диссертационном исследовании. Тема

ее монографии сформулирована так: «Интерпретация художественных произведений Достоевского с точки зрения литературоведческой имагологии с особым учетом изображения Польши» [208]. Уместным по отношению к своей теме она считает «метод герменевтической интерпретации» с помощью «структурной глубинной семантики (П. Рикёр)» [208, с. 14]. Основные положения ее исследования сводятся к следующему: «чужое» (т.е. иностранное) у Ф. Достоевского характеризует русских персонажей, и осуществляется это двумя способами. Во-первых, это «чужое» имманентно присуще русским, «очуждает» их, делает их «западными», и предстают такие русские персонажи «в сакральной, нуминозной функции» [208, с. 431]; а во-вторых, «чужие» персонажи нужны писателю для акцентирования контраста с основными русскими персонажами.

Характеризуя изображение поляков в произведениях Ф. Достоевского, М. Швидерска в рамках «мифа чужого» в дополнение к терминам «образ» и «имаготип» применяет понятие «имаготема» (*Imagotheme*). В имаготеме выделяются составляющие компоненты, названные «имагемами» (*Imagem*) К ним отнесены все «польские» образы в творчестве писателя, а также всевозможные ссылки из польской истории и культуры [208, с. 117]. При этом важно, что исследовательница рассматривает эти феномены как проявления «чужого» для русских персонажей, что выступает их важным характеризующим средством.

Вполне правильным в выводах М. Швидерской следует считать положение о том, что «чужие», иностранцы представляют своеобразный фон для характеристики русских персонажей. Что же касается сделанного М. Швидерской разграничения русских персонажей по их отношению к «чужому» (иностранному), то оно не кажется достаточно убедительным. В частности, у нее остается неясным, почему «сакральная, нуминозная» функция относится только к той группе русских персонажей, которых «очуждает» западное влияние, а не ко всем русским персонажам, которых (после 1860-го года, времени формирования «почвенничества») можно, так или иначе,

соотнести с «почвенническим» миропониманием. Ведь дело в том, что использование М. Швидерской понятий «сакральное» и «нуминозное» в приведенном выше контексте и в рамках темы ее работы оправдано только при учете связи этих понятий с идеологией «почвенничества», с его христианской основой и утопическим представлением о будущем «всечеловеке» [208, с. 117]. Именно эти черты «почвенничества» уместно называть сакральными (но вряд ли нуминозными), а они распространяются на всех русских людей, а в известном пределе и на всех людей вообще.

Эти и некоторые другие погрешности в научно добросовестной работе М. Швидерской вызваны, на наш взгляд, недостаточным вниманием к «почвенническому» контексту образов иностранцев, который способен в корне изменить ракурс и масштаб рассмотрения этих образов, а, значит, и их художественный смысл.

Из этого обзора литературы видно, что почти во всех работах используется (или подразумевается) имагологический подход к рассмотрению образов иностранцев у Ф. Достоевского. Подход этот строится на изучении образа «чужого» в сознании той или иной страны (национальной группы, эпохи; см., например, работу В. В. Орехова [136] или Е. В. Папиловой [139]), и может казаться, что он вполне приемлем и для нашей темы. Однако именно ключевое положение имагологического подхода (то, что «чужой» или «другой» является чем-то инородным для воспринимающей стороны) противоречит основной установке Достоевского-«почвенника» на «всечеловечность» русского национального типа, которая теоретически, «в принципе» устанавливает равенство между всеми людьми. Такая установка в художественной системе Ф. Достоевского – не просто теоретическое положение, а художественно значимая идея. Она существует как «идея-чувство» (так о ней можно сказать на языке Достоевского, используя понятие из романа «Подросток»: «не один логический вывод, а, так сказать, вывод, обратившийся в чувство...» [50, т.13, с. 46]), или как идея, становящаяся почти героем произведения (это уже на языке М. М. Бахтина). Метафорически обобщенно эту идею обозначают такие

художественные формулы, как «всемирное боление» («Подросток»), «обновление и воскресение всего человечества» («Идиот»), «вселенская любовь» как следствие признания вины «каждого за всех» («Братья Карамазовы»). Все эти формы существования «всечеловечности» следует соотносить с образами иностранцев и с образами русских героев-идеологов, которые должны быть уяснены в их художественно-эстетическом своеобразии. А для этого методы имагологии (как раздела сравнительно-исторического литературоведения) не являются наиболее адекватными и должны занять место второстепенных, прикладных. В данном случае нужна опора, прежде всего, на особенности поэтики Ф. Достоевского, понимание которых невозможно без учета широкого контекста его творчества. Поэтому в качестве основной методологической установки в нашей работе уместно использовать традиционный культурно-исторический подход, но, конечно, не в варианте, восходящем к Ипполиту Тэну, а в соотносительном с ним современном варианте – системно-целостном подходе, разработанном М. М. Гиршманом [38], и позволяющем привлекать различные специальные методики для решения конкретных исследовательских задач. Более подробно методологические основания диссертационного исследования будут рассмотрены в подразделе 1.2.

Таким образом, в решении проблем воплощения различных аспектов национального в творчестве Ф. Достоевского культурологами и литературоведами в конце XX и в начале XXI вв. наблюдается углубление тенденции к размежеванию взглядов на Ф. Достоевского как выразителя «национального духа»: с одной стороны, «снятие глянца» с Ф. Достоевского и отказ от уклончивых характеристик его «национализма» (И. И. Гарин, С. В. Оболенская, С. А. Никольский, Г. С. Померанц); с другой стороны – признание безусловной правоты Ф. Достоевского в его критике Запада и утверждении спасительности православия для России и Европы (М. М. Дунаев, А. В. Гулыга, Т. Шпидлик). Более взвешенную позицию занимают такие исследователи, как Р. Лаут, Ю. Г. Кудрявцев, Т. А. Касаткина, Б. Н. Тарасов,

стараясь представить различные, отмеченные крайней противоречивостью, аспекты воплощения национального у Ф. Достоевского.

Как видим, анализ литературно-критической рецепции изображения иностранцев в творчестве Ф. Достоевского при кажущейся основательной разработке проблемы (представление, возникающее вследствие большого количества работ, как общего плана, так и частного характера) свидетельствует о том, что проблема эта далека от своего окончательного разрешения и требует более пристального внимания на основании новых теоретико-методологических подходов.

## **1.2. «Свой – чужой» в литературе: методологические проблемы с проекцией на творчество Ф. М. Достоевского**

В данном подразделе диссертации ставится цель определить смысл и содержание понятийной оппозиции «свой – чужой», предполагая важность ее проявления на мифологическом и архетипическом уровнях и уделяя внимание, в первую очередь, неопределенности границ между ее составляющими. Кроме того, предполагается дать общее представление о различных формах художественной реализации данной оппозиции.

Изучение мифологических и архетипических форм культуры занимает важное место в научных трудах Г. В. Гегеля, З. Фрейда, К. Г. Юнга, А. Ф. Лосева. Значительный вклад в изучение бинарных оппозиций культуры внесли исследования К. Леви-Стросса, В. В. Иванова, В. Н. Топорова, М. Элиаде, М. М. Бахтина и других.

Рассматривая данную оппозицию, обратимся к истокам ее происхождения. Известно, что первым этапом в развитии индивидуума от первобытного к общинному укладу является основание социума на базисе специфицированных общественных коммуникаций, а в дальнейшем – отмежевание его от иных общин, где, по мнению В. Н. Топорова, уникальным методом сбережения и воссоздания накопленной «коллективной памяти» был миф, который

„двуедин”, то есть в нем происходит как отделение „мы” от „они” по принципу бинарной оппозиции, так и закрепление приобретенного опыта [158, с. 194, 359].

Известный французский этнограф и семиолог К. Леви-Строс, полагая, что первоэлементом мифа является называемый «принцип бинарности», то есть, согласно его мнению, миф отображает реальность, используя оппозиционные «двучлены», среди которых, взаимоопределяясь и формируя «стройную картину мира», фундаментальное значение имеют такие как «космос – хаос», «жизнь – смерть», «природа – культура», «мужское – женское», «свое – чужое» [107, с. 213 и дальше]. Несмотря на то, что французский этнограф анализирует преимущественно первобытно-архаический миф и выделенные им оппозиции более присущи мифологическому мировосприятию, все же «принцип бинарности» соотносим с любым мифом, и, хотя оппозиции могут варьироваться, они обязательно проявляются и фактически выступают историческими инвариантами первичных, древнейших мифических представлений [107, с. 213 и дальше].

Необходимо отметить, что изначально, то есть с древнейших времен, отношение к «чужому» характеризовалось, в первую очередь, необъяснимостью, таинственностью, так как «чужой» всегда был врагом, и, соответственно, представлял определенную опасность. Нарушение баланса между «своим» и «чужим» восстанавливалось с помощью ритуала, который, в свою очередь, тоже «двуедин» и в нем на основе бинарной оппозиции, происходит как разграничение «своего» и «чужого», так и фиксация приобретенных знаний. Отсюда, можно сделать вывод, что оппозиция «свой – чужой» является, прежде всего, фрагментом духовной картины мира, сформированной коллективным донаучным сознанием.

Интересные исследования в этой области провел культуролог В. В. Иванов, который, основываясь на суждении, что в сознании каждого индивидуума присутствуют «архаические мифоструктуры, архетипы», непрерывно дополняющиеся новейшим «мифотворчеством», указывает на связь «бинарной

логики мифа» с «особенностями строения и физиологии нашего головного мозга» [66, с. 404-407].

Еще один известный специалист в сфере древнейшей мифологии Дж. Кэмпбелл, рассматривая архетипический миф о герое, утверждает, что «строй образования такого мифа специфичен» и, в первую очередь, основан на архетипической оппозиции «свой – чужой», которую можно выделить, по его словам, «в любую эпоху, в любой стране» [101, с. 171-178]. На основе вышесказанного можно утверждать, что сформировавшееся в ходе исторического развития деление на «свое» и «чужое» имеет определяющее значение в самоидентификации человеческих общностей разных уровней, выступая важнейшим архетипической оппозицией сознания и поведения человека.

Относясь к фундаментальным категориям человеческого сознания, дихотомия «свой» – «чужой» имеет, прежде всего, мифологически-архетипный смысл. Миф навсегда остается в сознании человека, ибо первостепенным предназначением его есть сообщение смысла, а символические образы мифа являются общезначимыми для человека, то есть, согласно терминологии К. Г. Юнга, архетипическими средствами отображения содержания.

И хотя нынешняя цивилизация вносит в нашу жизнь свой собственный смысл, современный человек, основываясь на содержащейся в архетипических образах духовной силе, все же вырабатывает новые символические конструкции. Прообраз или архетип является результатом огромного коллективного опыта предков, и в силу этого постоянно воспроизводится в повседневном бытовании человека, но, прежде всего, и наиболее очевидно в произведениях художественного творчества.

Отмечая фундаментальность противопоставления «свой» – «чужой», мы, тем не менее, должны учитывать его исторический характер. Как справедливо отмечается во введении к коллективному труду «Образ „другого” в культуре» из серии «Одиссей. Человек в истории», «границы между „своим” и „чужим”» текучи, они изменяются как в пределах каждой эпохи, так и – тем более – в

самом историческом процессе» [134, с. 5]. Если в эпоху средневековья противоположность «своего» и «чужого» рождала фундаментальные размежевания между этническими и религиозными группами, то в Новое время вследствие активных контактов между этими разными группами данная противоположность приобрела иные формы. Национальная идея, которая возникла, по предположению специалистов, «параллельно идее „человечества”», вовсе не предусматривала разделения человеческого рода. Отделявшая друг от друга группы людей, она вовсе не требовала, во всяком случае, на первых порах, принижения одних другими, не утверждала превосходства одной нации над другой. Напротив, идея национальностей предполагала многообразие внутри единства <...> проблема „свой” – „чужой” стала не только философской или исторической, но и политической» [там же, с. 6].

Стереотипы, относящиеся к специфике поведения членов социума, к устройству основ цивилизации, формируют позицию индивидуума к представителям других национальностей. Наряду с крайне негативной характеристикой «чужих», которые «несут с собой те или иные определенные свойства – бедствия от вторжений «их» орд, непонимание «ими» «человеческой» речи («немые», «немцы») [147 с. 65], представители «своей» группы непременно наделяются безупречными индивидуальными чертами. Б. Ф. Поршнев, рассматривая отношения «двух общностей», делает выводы, что человек впервые получил возможность идентифицировать принадлежность к своей общине только вступив в контакт с представителями «чужих», что процесс самоопределения предусматривает, прежде всего, интенсивную и непрерывную взаимосвязь «своего» и «чужого» [147, с. 65].

Вследствие этого взаимодействия неизбежным становится взаимодействие и взаимопроникновение культур. По мнению Н. В. Кокшарова, «межкультурные взаимодействия не могут происходить иначе, чем через взаимодействия индивидуальных мировоззрений <...> оно может быть как культурно-прямое, когда культуры взаимодействуют друг с другом благодаря общению на уровне языка <....> так и косвенное <...> когда взаимодействие



носит диалоговый характер. Инокультурное содержание занимает двойственное положение – и как „чужое” и как „свое”» [85, с. 30-31].

Так как культурное разнообразие порождает непрерывное сравнение, а «чуждое», «незнакомое» не всегда оценивается однозначно негативно, приходит понимание, что есть что-то лучше, отношение к себе, своей культуре становится более объективным и критичным, что и обуславливает развитие, стремление доказать свое превосходство.

Нельзя не считаться также и с тем, что оппозиция «свой – чужой» проявляется и на одном из низших уровней человеческого бытия – биологическом, включая физиологический и психофизиологический, что существенно влияет на процессы самоидентификации личности. Как отмечает М. Л. Дубоссарская, способность определять «своих» и «чужих», присущая человеку еще с колыбели, проявляется в поведении ребенка демонстрацией исключительно положительных чувств по отношению к представителям «своей» группы, и, напротив, контакт с «чужими» приводит к возникновению неосознанному чувству угрожающей опасности, вызывает его негативную реакцию [53, с. 171-173].

Однако в этом случае принадлежность к «чужим» или «своим» следует воспринимать не как признак с самостоятельным значением, а только как сигнал об опасности, по отношению к которому признак этот находится в зависимой, служебной функции. Врожденной в этом случае нужно считать биологически более древнюю и более общую реакцию удовольствия – неудовольствия на внешний раздражитель, а не достаточно специализированные, по сравнению с ней, ощущения мира как «своего» и «чужого». И все же опосредованная связь с биологической основой у рассматриваемой нами оппозиции есть.

Поэтому оправдана также точка зрения Л. Н. Виноградовой, которая в классификации уровней связи оппозиции «свой – чужой» наметила (не подчеркивая этого) движение от биологического уровня к социальному. Эта исследовательница указывала, что различные науки, обращенные к человеку,

его поведению, сознанию, в какой-то степени сталкиваются с категорией «свойственности – чуждости» как одной из наиболее значимых категорий сознания. По ее словам, оппозиция своего и чужого определяется «в категориях разноуровневых связей человека: кровно-родственных (свой – чужой род, семья), этнических (своя – чужая народность, нация), языковых (родной – чужой язык, диалект, говор), конфессиональных (своя – чужая вера), социальных (свое – чужое общество, сословие, коллектив) и т.п. ...» [28, с. 17].

Перечень этот показывает не прямое восхождение от биологической (родовой, кровнородственной) основы рассматриваемой нами оппозиции к основе духовной. При этом духовная основа одновременно оказывается в непреодолимой зависимости от почти животного деления на «своих» и «чужих», и в то же время способна выработать некий идеал, где «свое», «родное» совпадает с пусть абстрактным, но все же общечеловеческим (неотделимым от возведения человека до божества). Таковы, например, идеальные представления о рае или «золотом веке» у разных народов и в разных религиях.

С древнейших времен восприятие «чужого» было, прежде всего, мистично, «чужой» всегда воспринимался как «враг, враг богов», носитель «чуждой магии» и сопровождается негативной оценкой. Противопоставление «свой – чужой» с резко отрицательной оценкой всего, принадлежащего «чужому» миру, нашло свое отражение в мифологии, в ритуалах и обрядах, в фольклоре и литературе разных народов. Как отмечает И. И. Срезневский, согласно этимологическим исследованиям, древнерусское слово «чужий» имеет значение «чуждый», «злодей», «нечестивец», «отвратительный» и т. д. [167]. Восприятие же «своих», напротив, сопровождается положительными эмоциями. Даже «самоназвания» различных этнических групп в разных регионах планеты, в различных природных условиях, имеет значение «истинные люди», «настоящие люди» [167].

Очевидно, что уже само существование «чужого» угрожает значимости и существованию самого «я» и «своих». Поэтому естественной реакцией на

«чужого» в рамках подобного рода бинарной оппозиции являются неприятие и отторжение. В свете мифологического сознания «чужой» всегда является врагом, представляет определенную опасность, часто связанную с магическими действиями. Такое убеждение о стремлении «чужих» приносить вред определялось распространенными представлениями о связи «врагов» с иным, потусторонним миром, хотя в большинстве первобытных культур существовало убеждение, что «по ту сторону» живут также и почитаемые предки, поэтому отношение к потустороннему миру не могло быть однозначно и исключительно отрицательным.

Вместе с тем, человеческий опыт многократно подтверждал и продолжает подтверждать, что между «чужим» и «своим» нет непроходимой границы. Как подчеркивает В. Е. Каган, «диалектика „своего и чужого” в человеческом воплощении отнюдь не обязательно конфликтна» [71]. Кроме того, сама природа бинарной оппозиции предполагает обязательное наличие противопоставленных элементов, следовательно, наличие «другого» никоим образом невозможно устранить или уничтожить.

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что категория «свой – чужой» в процессе межкультурной коммуникации в первую очередь предполагает осмысление «своей» культуры на фоне «чужой» и в то же время «чужой» культуры на фоне «своей». При этом в процессе межкультурной коммуникации «чужой» становится более доступным, близким, достигается относительное понимание и освоение «чужого», т. е. перенос культурных архетипов из пространства «чужого» в «свое». Причем, дифференцирование «своего» и «чужого» наряду с их тесной взаимосвязью присутствует в каждой культуре. Отсутствие же «чужого» или «другого» в индивидуальном мировосприятии приводит к сомнению в собственном «я», практически к его самоуничтожению.

Впервые необходимость положительной проблематики «чужого» в контексте идентификации и самоидентификации была введена Г. Ф. В. Гегелем при рассмотрении им концепции «признания», согласно которой необходимым

условием конституирования человеческой личности является стремление быть признанным со стороны других людей (см.: [143, с. 31]). Спустя полтора столетия Ж.-П. Сартр также приходит к выводу, что «поскольку каждый человек противопоставляется другому <...> он утверждает против другого и по отношению к другому свое право быть индивидуальностью». То есть, осознание себя индивидуальностью должно быть «обусловлено признанием другого» [156, с. 319-344].

Таким образом, наиболее фундаментальным уровнем оппозиции «свой – чужой» следует считать уровень архетипический. Он позволяет говорить как о принадлежности человека к определенным группам или кастам, о его положении в социальной иерархии, так и о связи религиозных ритуалов с враждебностью к «чужим» и лояльным отношением к «своим». С другой стороны, приведенные соображения позволяют говорить о неабсолютном характере оппозиции «свой – чужой».

Теоретическая ценность исследования упомянутой оппозиции заключается в определении особенностей формирования национальной «картины мира на основе смыслового противопоставления „свой – чужой”», которое, будучи одной из «глубинных структур сознания», является специфическим инструментом постижения «мира человеком» [140, с. 5-6].

Практическая значимость рассмотрения данной оппозиции применительно к нашей диссертации заключается в том, что осознание неабсолютного характера противостояния «своего» и «чужого» создает возможности, во-первых, для корректировки многих категоричных суждений Ф. Достоевского как эмпирической личности о представителях иных национальностей и, во-вторых, для поиска художественно-эстетических средств разрешения конфликтов между «русскими» и «иностранцами» в произведениях Ф. Достоевского.

### 1.3. Идеология «почвенничества» и антропология Ф. М. Достоевского

Середина XIX века стала решающим этапом в русской истории, периодом предвидения общественных реформ, новых течений, знаменем грядущего. В это время, размышляя об эпохальных путях эволюции России, многие государственные деятели, литераторы, публицисты все чаще стали соотносить судьбу России с европейским опытом. Передовая общественная мысль пытается решить вопрос: есть ли у России свой путь развития или она обязательно повторит западный, буржуазно-промышленный, основанный на рационалистически-прагматичном устройстве общества. Все больше дискутируется вопрос о значении православия в национальном самоопределении. Западники (А. И. Герцен, В. Г. Белинский, Т. Н. Грановский, И. С. Тургенев, Б. И. Чичерин и др.) высказывают мнение о том, что русский народ – народ европейский и его путь связан с формированием свободы индивидуума, как и путь Западной Европы. По мнению западников, «реформы Петра» не привели к пресечению «русских исторических традиций», но, скорее, послужили стимулом обретения Россией «плодов гражданственности и просвещения», принесли, согласно В. Г. Белинскому, «идеалы европейской цивилизации – живую веру в прогресс <...> сознание человеческого достоинства» [129].

Представители славянофильства (А. С. Хомяков, Б. И. Керимов, И. В. Киреевский и др.) полагались на исключительность исторического пути России, обосновывая это, прежде всего, тем фактом, что фундаментом, прочной духовной основой, на которой формируется менталитет нации, есть православие, обеспечивающее русской культуре целостность и преемственность. Вместе с тем, славянофилы считали, что в настоящее время православие пока не в состоянии раскрыть свой духовно-этический потенциал. Во-первых, в силу исторически сильной византийской традиции, сформировавшейся под влиянием язычески ориентированной древнеримской цивилизации. Во-вторых, фактором, препятствующим раскрытию достоинств православия, стало преобладание обрядности над духовным смыслом веры. В

связи с этим резкой критике со стороны славянофилов подвергалась и официальная церковь вследствие ее всецелого подчинения светской власти [129].

Отношение Ф. Достоевского к западникам и славянофилам было достаточно сложным. Идеология западничества в целом была ему чужда, однако Европа, безусловно, признавалась им как средоточие великих достижений культуры. Высокие оценки европейских культурных ценностей постоянно встречаются и в публицистических, и в художественных произведениях писателя. Так, в романе «Подросток» Версилов называет Европу для всякого русского человека таким же «отечеством нашим», как и Россию [50, т.13, с. 377]. Подобную же мысль встречаем в «Дневнике писателя» за 1876 год: «У нас – русских – две родины: наша Русь и Европа, даже и в том случае, если мы называемся славянофилами (пусть они на меня за это не сердятся)» [50, т.23, с. 30]. Ср. также в «Дневнике писателя» за 1881 год: «Европа нам тоже мать, как и Россия, вторая мать наша – писал Достоевский, оставшийся в этом вопросе верным своим юношеским признаниям, – мы много взяли от нее, и опять возьмем, и не захотим быть перед нею неблагодарными» [50, т.27, с. 36].

Славянофилы же, по мнению Ф. Достоевского, лелеяли в душе «один только московский идеал Руси православной» [50, т.20, с. 20], в то время как для Ф. Достоевского православие в идеале имело особый расширительный статус и целью его являлось достижение всемирной гармонии; как утверждает автор глубокой книги о «положительной философии» Ф. Достоевского Райнхард Лаут: «Гармоническое совершенство положительной философии становится возможным на почве католического, т.е. вселенского православия» [105, с. 39].

Именно необходимость взвешенного подхода к решению вопроса о взаимоотношениях Востока и Запада, России и Европы потребовала разработки «новой общественной идеологии», названной Ф. Достоевским и его соратниками «почвенничеством» и выразившей надежду на осуществлении синтеза славянофильских и западнических идей.

«Почвенничество» как мировоззренческая идеология сформировалось как объединение писателей и общественных деятелей, сотрудничавших сначала в журнале «Время» (1861-1863), а потом в журнале «Эпоха» (1864-1865), которые издавались Федором и Михаилом Достоевскими. В состав объединения входили также критик Аполлон Григорьев, публицист и философ Николай Страхов, публицист Алексей Разин, писатели Дмитрий Аверкиев, Всеволод Крестовский и др. Назначение «новой» идеологии виделось, прежде всего, в примирении русского общества, находившегося в тот момент в состоянии всеобщей враждебности вследствие раскола между основными его слоями: с одной стороны, между разными группами интеллигенции, а с другой – между образованной частью общества и простым народом.

Идея «почвы» выдвигалась Ф. Достоевским и его соратниками как основоположная в разрешении спора западников и славянофилов, примирении их последователей. Пытаясь устранить крайности славянофильства и снять с него налет внешней, искусственной народности, но, принимая мысль о самобытности исторического пути России, «почвенники» пытались создать на основе своей программы как можно более широкое общественное движение за объединение усилий интеллигенции с целью преодоления невежества народа и его бедственного материального положения. Не принимая идущих с Запада идей радикально-революционного переустройства общества и односторонности сугубо материалистического и утилитарно понятых оснований жизни, они вовсе не отрицали достижений Запада в развитии культуры и отстаивании важности и самоценности отдельной человеческой личности, одновременно видя здесь опасность эгоцентризма, бездуховности и нового разобщения общества.

В «Объявлении о подписке на журнал „Время” на 1861 год» Ф. Достоевский писал: «Мы знаем, что не оградимся уже теперь китайскими стенами от человечества. Мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет

синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности» [50, т.18, с. 37]. Утверждая бесперспективность спора западников и славянофилов, Ф. Достоевский рассуждает о «примирении цивилизации с народным началом: обе стороны должны наконец понять друг друга, должны разъяснить все недоумения, которых накопилось между ними такое невероятное множество, и потом согласно и стройно общими силами двинуться в новый широкий и славный путь. Соединение во что бы то ни стало, несмотря ни на какие пожертвования, и возможно скорейшее, – вот наша передовая мысль, вот девиз наш...» [там же].

Спустя два года, в «Объявлении о подписке на журнал „Время” на 1861 год» Ф. Достоевский еще более определенно связывает сущность «почвенничества» с «народностью»: «...все дело в понимании слова народность <...> нравственно надо соединиться с народом вполне и как можно крепче <...> нравственно стать с ним как одна единица <...> Мы вносим новую мысль о полнейшей народной нравственной самостоятельности, мы отстаиваем Русь, наш корень, наши начала <...> спасенье в почве и народе...» [50, т.20, с. 209-210].

Как видим, опираясь на идею «почвы», путем утверждения традиционной веры и народных идеалов, хранящихся в русской православной культуре, «почвенники» пытались увлечь общество высокой целью «объединения Востока и Запада» [50, т.21, с. 70]. При этом их «примирение» должно состояться на основе взаимоуважения и признания исключительной ценности каждой национальности. Одновременно Ф. Достоевский настойчиво утверждает, что русские «вовсе не европейцы», а историческое развитие России происходит в своем собственном, уникальном направлении [50, т.21, с. 70].

И отличие это определяется особой связью русского народа со своей землей. В «Дневнике писателя» за 1876-й год он записывает: «Весь порядок в каждой стране – политический, гражданский, всякий – всегда связан с почвой и



характером землевладения в стране. В каком характере сложилось землевладение, в таком характере сложилось и все остальное <...> земля – все, а уже из земли у него все остальное, то есть и свобода, и жизнь, и честь, и семья, и детишки, и порядок, и церковь – одним словом, все, что есть драгоценного...» [50, т.23, с. 98].

Основной призыв представителей «почвенничества» был обращен к интеллигенции, от которой настоятельно требовали вернуться к «почве», то есть к традиционным русским ценностям, сохранившимся в простом русском народе. Источником «отрыва от народа», согласно «почвенникам» (как и их предшественникам, славянофилам) объявлялись петровские реформы, переключение всего русского общества на западные образцы обустройства жизни, включая поведение, внешность, образование и т.п. Преодолением же раскола должно стать активное движение интеллигенции не просто к сближению с народом, но внедрению в его широкие слои образования, цивилизованных форм жизни, постепенного приобщения к достижениям западного мира.

Отличительной чертой «почвенничества», как отмечается в «Новой философской энциклопедии», есть формирование «самобытной концепции социального реформаторства, программы „постепенства” и „малых дел”, венцом которой объявлялось слияние „просвещенного общества” с народом в исконно русских формах общественного быта – прежде всего в институтах земства» [129].

Ф. Достоевского, как и других «почвенников», нередко упрекали за неясность и эклектичность их идеологии, которая явилась следствием их «нейтральности», стремления подняться над враждующими партиями западников и славянофилов, пытаясь таким образом примирить их. Н. Н. Страхов также отмечал, что Ф. Достоевский «не отказывался от сочувствия к самым разнородным и <...> противоречащим явлениям...», подчеркивая, что Ф. Достоевский «не сумел бы логически согласовать свои сочувствия, усмотреть противоречия <...> но он мирил в себе свои сочувствия

психологически и эстетически...» [172, с. 391]. Для дальнейшего четкого понимания «почвеннической» позиции Ф. Достоевского и особенностей ее воплощения в его художественных произведениях, попытаемся суммировать центральные пункты «почвеннической» программы. В ее констатирующей части говорится о разорванности современного русского общества; «утрате целого»; отрыве просвещенной части общества от народа, в котором живы христианские идеалы и ценности; особенном русском пути на фоне все более деградирующей в сторону бездуховного меркантилизма и безрелигиозности Западной Европы. [50, т. 26, с. 147] В качестве положительной программы выдвигается идея ведущей роли народно-православного миропонимания в восстановлении единства общества; придание «всечеловеческой» сущности русского человека мессианского значения в плане достижения будущего «всечеловеческого» единения. Наиболее определенно эта мысль Ф. Достоевского выражена в «Речи о Пушкине»: «что такое сила духа русской народности как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? <...> Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите <...> будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей. <...> Ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено...» [50, т. 26, с. 147-148].

Эти идеи Ф. Достоевского стали квинтэссенцией так называемой «русской идеи» (само это выражение принадлежит Достоевскому – см. цитированное выше «Объявление о подписке на журнал „Время” на 1861 год»). Его последователями в этом отношении выступили такие философы и деятели культуры, как Владимир Соловьев, Николай Бердяев, Василий Розанов, Илья Ильин и др. Важнейшей особенностью взглядов Ф. Достоевского на

взаимосвязь русского и всечеловеческого является их морально-нравственная составляющая. По мнению А. В. Гулыги, «русская идея Достоевского – это воплощенная в патриотическую форму концепция всеобщей нравственности...» [43, с. 109]. Ни в коей мере не оспаривая это утверждение известного современного русского философа, вместе с тем считаем необходимым отметить, что и в цитированной книге автора, и в ее следующем варианте [43], прослеживается тенденция снятия противоречий с Достоевского-мыслителя и общественного деятеля. Об этом, в частности, свидетельствует анализ проблемы антисемитизма Ф. Достоевского, когда автор приводит в качестве подтверждения «лояльного» отношения писателя к евреям различные фрагменты из «Дневника писателя» и вместе с тем всячески обходит другие, антиеврейские высказывания Ф. Достоевского, хорошо известные, например, по публикациям Н. Н. Наседкина [122]. Более продуктивной представляется позиция И. И. Гарина, видящего в Достоевском исключительно сложную, противоречивую, «многоликую» личность, что подчеркнуто и в названии его книги об авторе «Преступления и наказания» – «Многоликий Достоевский». В своем исследовании И. И. Гарин приводит очень показательное в этом отношении истолкование С. Н. Булгаковым «уничтожающей характеристики личности Достоевского» Н. Н. Страховым: «Отдавая должное моральным качествам Страхова, я все-таки нахожу в ней признаки неоспоримой ограниченности и близорукости: несложному и рациональному Страхову была слишком чужда и несимпатична вся противоречивая сложность личности Достоевского с ее провалами, подпольем, эпилепсией не только в нервах, а и в моральном характере, но и с ее солнечными озарениями и пророческими прозрениями...» [33].

На протяжении 1860-1870-х годов Ф. Достоевский настойчиво внедряет «почвеннические» идеи в свои художественные произведения, вкладывая их в программу действий тех или иных героев или напрямую провозглашая их устами нарратора и персонажей. Эти идеи обыгрываются в разнообразных художественных формулах – «всемирное боление» («Подросток»), «обновление

и воскресение всего человечества» («Идиот»), «вселенская любовь» как следствие признания вины «каждого за всех» («Братья Карамазовы»). При этом всячески прокламируется идея неразрывности «русскости» и «всемирности». Публицистически обнаженно эта мысль выражена в «Дневнике писателя» за 1877-й г.: «национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение...» [50, т.25, с. 20].

В рамках «Дневника писателя» Ф. Достоевский стремится указать на обоснованность этой мысли «делом», «примером»: «в идее, в духе русского народа, – пишет он, – заключается живая потребность всеединения человеческого, всеединения уже с полным уважением к национальным личностям <...> единение любви, *гарантированное* уже делом, живым примером» [50, т.25, с. 23] (курсив Ф. М. Достоевского. – И.М.). Между тем, такой призыв самого писателя не согласуется с его собственными оценками и характеристиками иностранцев, как они представлены и в его переписке, и в «Зимних заметках о летних впечатлениях», и в «Дневнике писателя», где сплошь и рядом встречаются крайне резкие и категорично однозначные суждения о Европе и о представителях разных европейских народностей. Подобными крайностями грешат и многие персонажи художественных произведений Ф. Достоевского.

Вместе с тем задача постижения особенностей воплощения проблемы «русские – иностранцы» в творчестве писателя вовсе не предполагает уличить Ф. Достоевского в национализме, ксенофобии и т.п. Как справедливо пишет известный польский литературовед и культуролог Анджей де Лазари, «нет никакого смысла сегодня обвинять Ф. Достоевского в национализме, как и нет никакого смысла обвинять в национализме Мицкевича, или, скажем, Киплинга. Всею своя эпоха. Достоевский в своем мировоззрении поздний романтик. Категория народности-национальности – основа романтической историософии. Романтизм принес также идею „избранности” – народа-выразителя Разума Истории или же народа-мессии...» [103, с. 195]. «Романтиком-националистом» называет Ф. Достоевского также и Анджей Валицкий, посвятивший ему немало

страниц в своей книге «История русской мысли от просвещения до марксизма» [25, с. 369] Он включает идеологические взгляды писателя в широкую панораму мировоззренческих поисков эпохи, утверждая, в сравнении с морализаторством Льва Толстого, что «самое ценное в мышлении Достоевского образует диалектическую сложность» [25, с. 372]. Более категоричную позицию занимает С. А. Никольский, который видит в «почвенничестве» Ф. Достоевского «мессианский национализм» и считает его активную проповедь «трагической ошибкой» писателя [126, с. 117].

Таким образом, в оценке «почвенничества» следует, прежде всего, руководствоваться принципом историзма. Проблемы западничества, славянофильства, «почвенничества» нашли многообразное отражение в журнальной полемике 1960-х годов, в многочисленных спорах об устройстве внутренней жизни, образовании, литературе, женской эмансипации, развитии человеческой личности, и Ф. Достоевский как издатель журналов «Время» и «Эпоха», выходявших в 1861-1864-х гг., также принимал в ней активное участие. Раздумья о судьбах России каждый раз приводили писателя к необходимости изучения исторического пути Запада, «европейского образца» цивилизации.

Вследствие этого проблема «Россия – Запад» стала одной из основных в творчестве Ф. Достоевского и включала в себя совокупность разнообразных социальных аспектов, связанных с положением внутри общества, но все же главным предметом внимания был вопрос о дальнейших путях развития России. Достоевского интересовали, прежде всего, такие аспекты этого пути: буржуазность – небуржуазность, национальные отношения, место России в истории народов и ее взаимосвязь с Европой.

Еще один важный аспект, который необходимо учитывать в оценке «почвенничества» Ф. Достоевского, это то, что при всей его («почвенничества») укорененности в проблемы национально-исторические, оно теснейшим образом связано с философской антропологией писателя, т.е. его представлениями о сущности человека, о его родовых чертах и свойствах, о

«натуре человека». При этом писатель видит здесь не условно-обобщенное, предельно абстрагированное представление о человеке, но тесную взаимосвязь общечеловеческого и национально-исторического, то, что складывается в продолжение длительного исторического времени. Об этом, Ф. Достоевский пишет, в частности в «Зимних заметках о летних впечатлениях»: «Натура даром не дается. Всё это веками возвращено и веками воспитано. Национальность не легко переделывается, не легко отстать от вековых привычек, вошедших в плоть и кровь...» [50, т.5, с.78].

Уже первый роман Ф. Достоевского «Бедные люди», изданный в 1846 году приносит молодому литератору популярность и несет в себе начала «его антропологии, окончательно сформировавшейся в поздних романах» [146, с. 51], так называемых «захватывающих дух антропологических трактатах» [16]. Фундаментальное антропологическое открытие Ф. Достоевского, по всеобщему признанию, заключается в многообразном раскрытии «двойственности» человеческой природы. Уже в раннем творчестве интуитивно почувствовав здесь корень всех экзистенциальных и социальных проблем, Ф. Достоевский в эксплицитной форме выражает эту идею в повести «Двойник» (1846). И. И. Евлампиев определяет «тему „двойничества“, неразрешимой антиномичности человеческой сущности» одной из основополагающих в творчестве Ф. Достоевского, указывая, что «своей кульминации она достигнет в «Братьях Карамазовых», где эта антиномичность, причем в самой радикальной этической и метафизической форме, будет присутствовать в душе всех значимых персонажей» [57, с. 133].

Но если в первых и в переходных произведениях Ф. Достоевского начала 1860-х годов («Униженные и оскорбленные», «Игрок») это фундаментальное антропологическое открытие еще не имеет четко выраженной христианской обусловленности, то в зрелом творчестве оно получает всестороннее обоснование именно с позиций христианства. При этом можем говорить о том, что христианская антропология Ф. Достоевского близка и к той ветви европейского и русского экзистенциализма, которую принято считать

религиозной (С. Киркегор, К. Ясперс, Г. Марсель, Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский, Г. В. Флоровский и др.).

Характеризуя открытия Ф. Достоевского «о человеке», этот момент, в частности, отмечает Н. А. Бердяев, правда, упоминая рядом с Ф. Достоевским только имена Ф. Ницше и С. Киркегора: «Достоевский – величайший русский метафизик, вернее, антрополог. Он сделал великие открытия о человеке, и от него начинается новая эра во внутренней истории человека. После него человек уже не тот, что до него. Только Ницше и Киркегард могут разделить с Достоевским славу зачинателей этой новой эры. Эта новая антропология учит о человеке, как о существе противоречивом и трагическом, в высшей степени неблагоприятном, не только страдающем, но и любящем страдания» [14, с. 171].

В силу этой тесной связи экзистенциального и собственно антропологического видения человека Ф. Достоевским считаем возможным называть его философию антропологическим экзистенциализмом.

При этом в основе экзистенциального двойничества человеческой личности заложено его неизбывное стремление к свободе. Ф. Достоевский в полной мере осознал это и впервые в «парадоксальной» форме выразил в «Записках из подполья»: «Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, – вот это-то всё и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотенья? Человеку надо – одного только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела» [50, т.5, с. 113]. Однако свобода постоянно ставит человека в ситуацию выбора между добром и злом. И он далеко не всегда может выдержать испытание свободой. Потому свобода, лишенная

морали, легко оборачивается своеволием и аморализмом. Важнейшим путем преодоления этого противоречия, создания возможностей для соединения свободы и морали, по Ф. Достоевскому, и является приверженность «почве».

Наиболее определенно «почвеннические» взгляды Ф. Достоевского, сформировавшиеся в годы каторги и ссылки, когда писатель обнаружил в русском человеке искреннюю потребность веры «сердечной», а не основанной сугубо на церковных канонах и догматах, отразились в образе Макара Ивановича Долгорукого из романа «Подросток». В рукописных редакциях этого данного произведения этот персонаж определяется автором как «русский тип» [50, т.16, с. 121], чем обосновывался и выбор его имени, хотя поначалу ему предлагалась даже фамилия Макаров, с соответствующей отсылкой: «Древняя святая Русь – Макаровы» [50, т.16, с. 128].

По утверждению М. В. Поник, показательно, что мрачные представления о будущем России в романе «Подросток» принадлежат именно «русскому» немцу Крафту. Хотя энергия («крафт» по-немецки «сила», «энергия»), с которой этот персонаж предается идее о национальной исключительности русских, в конечном итоге приводит его к самоубийству [146, с. 178]. В связи с этим В. К. Кантор обосновано утверждает, что «передача этой любви немцу говорит об интеллектуальной и художественной трезвости писателя. Мысль Ф. Достоевского проста, но чрезвычайно важна в сцеплении образов романа: упиваться идеей собственной национальной исключительности – черта не русская, ибо основа русскости – это „всечеловечность“...» [74, с. 370].

Еще один максимально соответствующий «почвенническим» убеждениям Ф. Достоевского его герой – «дворянский сын» Дмитрий Прокофьевич Разумихин из «Преступления и наказания», о котором сказано, что он может легко рассмотреть хорошее в людях, прекрасно понимает, как важно «привлекать, а не отталкивать» молодежь [50, т.6, с. 104]. Именно Разумихина, как отмечает, в частности Б. Н. Тихомиров, Ф. Достоевский и делает проводником и «активным выразителем „почвеннических“ идей» [177, с. 107].



Вместе с тем, на наш взгляд, практически все персонажи, которых можно назвать выразителями «почвеннических» взглядов автора, страдают схематичностью и одноплановостью. Не случайно их легко отнести в разряд «положительных» героев, противопоставив «отрицательным», как это делает, например, В. Я. Кирпотин, анализируя пару персонажей из «Преступления и наказания» – Разумихина и Лебезятникова и называя первого «рупором автора» [82, с. 262].

Более убедительным представляется образ Шатова из «Бесов», которого также часто связывают с «почвенническими» идеалами Ф. Достоевского. Иван Шатов, как говорится в «Записных книжках» писателя – «лицо трагическое и высоко христианское» [цит. по: 40]. При этом в образе Шатова писатель одновременно стремится показать недостаток твердости, неуверенность в своих убеждениях, «шатание», свойственное молодому поколению того времени [там же].

В зрелый период творчества Ф. Достоевского, в центре которого стоит «великое Пятикнижие», «почвеннические» идеи писателя входят в самое непосредственное соприкосновение, взаимодействуя и взаимообогащаясь с его антропологическими открытиями; здесь устанавливается фокус, «в котором собираются, через который проходят, сливаясь и взаимопроникая», его «философские и этические идеи» [84, с. 19]. При этом идея «двойственной» природы человека как центр антропологии Ф. Достоевского, приобретает значение родового качества, понимается как следствие «поврежденности первородным грехом», в связи с чем М. М. Дунаев так характеризует эволюцию антропологии Ф. Достоевского: «Если в начале человек представлял для писателя загадку психологическую, то в пору создания великих романов она обрела для него религиозную глубину» [54, с. 361].

Акцентируя двойственность человека, Ф. Достоевский в то же время настаивает на неотъемлемом присутствии в его природе начал чистой любви, жертвенности, всепрощения, уважения к каждому, независимо от социального и материального положения, равенства всех перед Богом. Исследование

глубинной сложности человека в зрелых романах писателя получает разностороннее обоснование и приобретает метафизический смысл. При этом значительное место в его философии отводится и поиску путей нравственного совершенствования, открывающегося для каждого вследствие усмирения гордыни и подавления эгоизма. Комментируя роль нравственных начал в философии автора «Преступления и наказания», Ю. Г. Кудрявцев подчеркивает, что, по Ф. Достоевскому: «главное в русском человеке и в русском пути – это признание в качестве самоцели человека и его духовности. <...> Русская идея – это православие...» [95, с. 146]. Противопоставляя так называемый «исторический» путь развития народов (то есть европейский, в котором доминирует стратегия необходимости) «нравственному», Ф. Достоевский считает, что «единственно возможное разрешение вопроса, и именно русское, и не только для русских, но и для всего человечества, – есть постановка вопроса нравственная, то есть христианская» [50, т.25, с. 60]. Вследствие этого предназначение, миссия Россия в том и заключается, чтобы спасти Европу и весь мир через обновление нравственной идеей.

Вместе с тем, многие исследователи творчества Ф. Достоевского отмечают, что «русская идея» в таком ее «всемирно-спасительном качестве» в целом сплошь и рядом предстает у него не как реальность, а, скорее, как идеал. Так, Ю. Г. Кудрявцев пишет: «Та Россия, которую Достоевский изобразил в романах, вряд ли способна к выполнению поставленных задач. Это Россия несогласованных сил, резких противоречий, Россия карамазовская. Ей ли кого-то спасать. Она сама в судорогах. Прежде чем кого-то лечить, ей надо самой лечиться...» [95, с. 145].

Отметим, что и в художественных произведениях писателя «русское» нередко изображается как «непотребное», «гадкое» (ср. в романе «Игрок» размышления нарратора Алексея Ивановича: «неизвестно, что гаже: русское ли безобразие или немецкий способ накопления честным трудом?» [50, т.3, с. 327]). Весьма объективной кажется и оценка русских людей Свидригайловым: «Русские люди вообще широкие люди <...> широкие, как их

земля, и чрезвычайно склонны к фантастическому, к беспорядочному; но беда быть широким без особенной гениальности...» [50, т.6, с. 378].

Важно отметить, что «почвеннические» убеждения Ф. Достоевского получают в его произведениях поэтико-мифологическое воплощение, что неоднократно отмечали, начиная с проф. С. Н. Булгакова многие исследователи. Например, этот вопрос детально рассматривает в своей работе «Концепция „живой жизни“ в творчестве Ф. М. Достоевского» М. А. Кустовская, считающая, что «фольклорно-мифологические» воззрения о взаимосвязи человека с землей идентичны концепции «единства матери и ребенка» и именно из них вырастает поклонение «богине-матери», имеющее место практически во всех древнейших мифологиях. Причем, сама «земля» при этом представляется «кормилицей, заступницей» и дарительницей, откуда и берет, вероятно, свое начало распространенный фольклорный мотив получения у земли «богатырской силы» [100]. В романах Ф. Достоевского выше упомянутый мотив раскрывается, к примеру, в сцене целования земли Раскольниковым после настойчивого призыва Сони Мармеладовой, также в эпизоде духовного воскрешения Алеши Карамазова, где «пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом ...» [50, т.14, с. 328] (см. об этом ниже).

По словам М. А. Кустовской, земля является источником силы, «твердой основы под ногами человека», и что самое главное – его «духовной почвой» [100], лишившись которой, представители русского интеллигентного слоя, по высказыванию Ф. Достоевского, превращались в «умственный пролетарий, нечто без земли под собою, без почвы и начала, международный межеумок, носимый всеми ветрами Европы» [50, т.23, с. 84].

То есть, эта связь с «почвой», согласно Ф. Достоевскому, является гарантией сбережения источников «живой жизни». Разрыв связей с родной землей приводит, прежде всего, к утрате духовно-нравственного ориентира, а моделями отрыва от «почвы», от «матери-земли» в художественном преломлении писателя оказываются «мечтательство», «подпольность»,

«шатость», «недосиженность» (ср. в романе «Бесы» оценку старшим Верховенским кружка «наших»: «Все вы из недосиженных...») и, как неизбежное следствие – двойничество многих персонажей Достоевского и их «бесовская» одержимость иллюзиями и утопиями, стремление немедленно и радикально разрешить все общественные противоречия [50, т.10, с. 29].

Проблема искреннего раскаяния и покаяния, без которого не может быть возвращения к родной земле, оскверненной грехом, связана с искуплением греха и вины перед нею. Если Ставрогин отказывается от того, чтобы «добыть Бога трудом», тем самым обрекая себя на гибель, то другие герои писателя, даже те, что, казалось бы, полностью утратили в своих пороках нравственные начала жизни, жаждут духовного возрождения и видят путь к нему прежде всего через искупительный труд. Не случайно Грушенька говорит Мите Карамазову об их предполагаемом общем будущем: «А мы пойдем с тобою лучше землю пахать. Я землю вот этими руками скрести хочу...» [50, т.14, с. 399]. Митя же, тоскуя по «союзу с землей», причисляя себя к «подземным людям», призывает петь гимн Богу радости из подземных рудников, принимает крест искупительной жертвы, миссию евангельского «зерна», которое должно пасть в землю и умереть, чтобы принести «много плода». Неспроста и то, что в романе евангельский текст повторяется дважды: в эпиграфе к роману и в проповеди старца Зосимы, выражая надежду автора на будущее перерождение и благоденствие России и всего человечества, которое обязано настать после всемирного разложения и регресса.

В свете «почвенничества» Ф. Достоевского следует рассматривать и обычай целования земли, корни которого прослеживаются в ветхозаветной традиции (Быт. 3: 17), согласно которой целование земли как возвращение к праистокам означает исцеление от совершенного греха; оно служит знаком освобождения от первородного греха, восстановления целостности человека (ср. также этимологически: «цел-овать» = «цел-ое»).

К такому покаянию обращает Раскольников Сонечка Мармеладова, когда восклицает, узнав о его преступлении: «Встань! (Она схватила его за плечо; он

приподнялся, смотря на нее почти в изумлении.) Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем, вслух: «Я убил! Тогда Бог опять тебе жизни пошлет...» [50, т.6, с. 322]. Под влиянием этого призыва Раскольникова действительно постигает потребность покаяния: «цельное, новое, полное ощущение», «загорелось в душе одною искрой и вдруг, как огонь, охватило всего. <...> Как стоял, так и упал он на землю <...> Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю, с наслаждением и счастьем. Он встал и поклонился в другой раз...» [50, т.6, с. 405]. Эти слезы, размягчая его окаменевшую душу и неся очищение, знаменуют грядущее воскресение героя.

Подобно Соне Мармеладовой Иван Шатов в «Бесах» призывает Николая Ставрогина во имя духовного спасения целовать землю, облить ее слезами и вымолить прощение [50, т.10, с. 202], однако кумир его остается глух к этому порывисто-искреннему совету своего бывшего ученика, лишая тем самым себя шанса на возможное возрождение. В «Братьях Карамазовых» старец Зосима в своей предсмертной исповеди, умирая, «в радостном восторге» целует землю [50, т. 14, с. 294]. После его смерти Алеша Карамазов, будучи на короткое время вместе с «маловерными» соблазнен «тлетворным духом», исходившим от его учителя, целует землю, обливая ее горькими и очищающими слезами и вследствие этого воскресает из уныния и, вновь обретая веру, «встал твердым на всю жизнь бойцом» [50, т.14, с. 328].

Таким образом, «почвенничество» Ф. Достоевского следует рассматривать как в контексте его понимания русского национального характера и исторической судьбы России, так и в контексте антропологических представлений писателя о трагически противоречивой сущности человека и о конечной цели развития человечества как всемирной общечеловеческой гармонии. Тесная связь экзистенциального и собственно антропологического видения человека Ф. Достоевским позволяет определить его взгляды как особенный вариант антропологического экзистенциализма, в основе которого

лежит идея христианского преображения личности и возможностей гармонизации бытия, видения жизни как целостно-многоликого феномена. Очень точно эту особенность мировоззрения Ф. Достоевского формулирует Б. Н. Тарасов: «Глубинный христианско-антропологический контекст его творчества позволяет ему не отрывать „внешнее“ от „внутреннего“ или принимать низшее за высшее, а, напротив, открывать „невидимое“ преломление коренных противоречий человеческой природы в тех или иных общественных тенденциях и яснее постигать как содержание прожитых столетий, так и направление каждого этапа истории: куда она движется, вперед-вниз („расточается“), к апокалиптическому финалу, или вперед-вверх („собирается“), к преображению жизни» [175, с. 44]. Безусловно, в упованиях Ф. Достоевского на особую роль русского народа на пути к всечеловеческому идеалу сказались его идеализм и утопическое видение будущего.

«Русская идея» как составляющая «почвенничества» и антропологии Ф. Достоевского в целом сплошь и рядом предстает у него не как реальность, а, скорее, как желаемое. Идеал «всеединения» и роли «русской идеи» в его достижении дан у писателя в гипотетическом развитии, он как бы вырастает из «почвы» того мира, в котором разделение на «свое» и «чужое» еще полно значения, насыщено бытовыми подробностями и конфликтами. А характер и способы разрешения конфликтов между русскими и иностранцами в художественных произведениях писателя могут быть показателем способности движения к этому идеалу.

### **Выводы к разделу 1.**

Историографический анализ проблемы исследования свидетельствует о том, что почти во всех работах об изображении иностранцев в произведениях Ф. Достоевского используется (или подразумевается) имагологический подход. Ключевое положение данного подхода (то, что «чужой» или «другой» является чем-то инородным для воспринимающей стороны) противоречит основной идее

Достоевского-«почвенника» о «всечеловечности» русского национального типа, которая теоретически, «в принципе» устанавливает равенство между всеми людьми. Эту идею обозначают такие художественные формулы, как «всемирное боление» («Подросток»), «обновление и воскресение всего человечества» («Идиот»), «вселенская любовь» как следствие признания вины «каждого за всех» («Братья Карамазовы»). Заявленные Ф. Достоевским формы существования «всечеловечности» следует соотносить с образами иностранцев и с образами русских героев-идеологов в их художественно-эстетическом своеобразии, для чего методы имагологии как раздела сравнительного литературоведения не являются вполне адекватными и должны занять место второстепенных, прикладных. Специфика поэтики Ф. Достоевского, ее новаторские особенности, вскрытые Бахтиным, требуют использования в качестве основного традиционного культурно-исторического метода с опорой на общие принципы исторической и теоретической поэтики, преломленные в целостно-системном подходе к феноменологической сущности литературного произведения. Важную роль при этом играет также герменевтический подход и метод филологического анализа, способствующие раскрытию специфики изображения иностранцев в художественных произведениях Ф. Достоевского, в отличие от публицистических. Принципы нарратологического подхода ориентированы на выявление диалектики голосов и «точек зрения» в романном дискурсе писателя и в конечном итоге способствуют установлению неоднозначности авторской позиции.

## РАЗДЕЛ 2.

### «РЕАЛЬНЫЕ» И «УСЛОВНЫЕ» ИНОСТРАНЦЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

#### 2.1. Общее и отличное в образах «реальных» иностранцев в произведениях Ф. Достоевского.

По количеству персонажей, принадлежащих к различным национальностям, главным образом, немцев, французов, поляков, англичан с их особыми национальными чертами, творчество Ф. М. Достоевского можно заслуженно считать уникальным. Причем, образы иностранцев в произведениях писателя, по наблюдению Н. В. Бутковой, в большинстве своем «являются национально типизированными», то есть писатель «акцентирует качества, черты характера, свойственные, по его мнению, многим представителям данной нации» [23, с. 3].

Уделяя значительное внимание в художественных и публицистических произведениях этническим образам, острым национальным вопросам, проблеме межнациональных отношений, писатель анализирует данные явления, основываясь на материале реальных бытовых жизненных ситуаций, на своих воспоминаниях, личном опыте общения с чужеземцами.

Мы находим возможным разделить данных персонажей на три категории:

1-й тип – «реальные» иностранцы, т.е. персонажи, которые в соответствии с указаниями нарратора действительно принадлежат к той иной национальности и подтверждают определенные национальные черты образом своих действий и мыслей;

2-й тип – «условные» иностранцы, т.е. персонажи (чаще всего эпизодические или внесюжетные, часто вскользь упоминаемые), которые заявлены нарратором как иностранцы, но никак не подтверждающие своей национальной специфичности;

3-й тип – «русские» иностранцы», т.е. персонажи, фактически, по происхождению, являющиеся русскими, но либо живущие за границей,



утратившие связь с родиной, либо, живя в России, свидетельствуют своим поведением и словесными декларациями оторванность от родной «почвы».

### 2.1.1. Образы немцев.

Приступая к характеристике «реальных» иностранцев, рассмотрим в первую очередь некоторые тенденции в изображении представителей немецкого этнического сообщества у Ф. М. Достоевского.

«Немецкая» тема присутствует и в художественном и в публицистическом творчестве Ф. Достоевского. Большинство немецких персонажей в произведениях писателя – это так называемые «русские» немцы, то есть постоянно проживающие в России. Согласно фактам, приведенным в работе В. Крюковой, «массовое переселение немцев в Россию началось во времена Екатерины II», которая, в соответствии с историческими сведениями, в 1763 году выдала Манифест, где предлагала иностранным гражданам возможность поселиться, разрешала «въезжать и селиться где кто пожелает <...> иметь свободное отправление веры по их уставам и обрядам беспрепятственно» [94]. Причиной данного приглашения стала нехватка человеческих ресурсов для обработки «неиспользованных плодородных земель России» [94]. В результате, «по переписи 1913 года в Российской империи проживало чуть более 2 400 000 русских немцев. Это были люди, принимающие активное участие в экономике страны и считавшие себя русскими...» [84]. Именно этот фактор, по мнению М. Г. Гиголашвили, привел к доминированию в произведениях Ф. Достоевского героев-немцев: «Причина кроется <...> в таком социально-историческом феномене, как массовые переселения немцев-колонистов в Россию, в укорененности их во всех слоях русского общества...» [36].

Значим для нашей темы также биографический фактор обращения к «немецкой» теме. В этой связи нужно упомянуть о таких фактах, стимулировавших обращение писателя к данной теме: интерес к немецкому искусству «с юных лет», особенно пристальное внимание к Шиллеру и Гёте, Моцарту и Бетховену, Канту и Шеллингу; существенен был также «приход в

семью Достоевских Эмилии Дитмар, немки, жены М. М. Достоевского» [30, с. 67]. Отметим также, что «немецкие» впечатления, полученные Ф. Достоевским во время пребывания в Германии, имели значимое влияние на формирование образов немцев и Германии в его произведениях. Немецкие персонажи постоянно встречаются на страницах романов Пятикнижия; упоминаний о немцах в них, согласно нашим подсчетам, примерно 130 (ср. в публицистике – 35 упоминаний), причем лидируют среди них по количеству упоминаний романы «Преступление и наказание» (30) и «Бесы» (32).

Согласно С. В. Оболенской, «ни с одним из европейских народов русские не имели, начиная с XVIII века, такого тесного и даже отчасти „домашнего“ соприкосновения, как с немцами» [132, с. 183]. Обратим внимание, что немцев и в процентном отношении к другим иностранцам в России было абсолютное большинство: «все эти <...> иностранцы, то есть, главное, немцы, которые к нам откуда-то приезжают...» [50, т. 6, с. 201]. Немцы присутствовали в реальной жизни, в повседневном быту, общественной жизни России того времени: преподавали в различных учебных заведениях, занимались врачебной практикой, трудились на заводах, в ремесленных мастерских, торговали в лавках и магазинах: «все хозяева различных заведений: слесаря, булочники, красильщики, шляпные мастера, седельники – все люди патриархальные в немецком смысле слова» [50, т. 3, с. 15]; участвовали и в литературной жизни России: «один литератор-поэт, из немцев, но русский поэт...» [50, т.8, с. 444], и даже заседали в канцеляриях и министерствах, то есть занимали все «ниши» российской действительности; роль их в социальной жизни страны также была высока. Естественно, что такие многократные соприкосновения русских и немцев в различных сферах жизни не могли не оказать воздействие на возникновение данного элемента в художественных произведениях.

У Ф. Достоевского прослеживается некое двойственное отношение к представителям упомянутой нации; он, с одной стороны, обращает внимание на такие положительные «немецкие» качества, как гуманность, человечность; добросовестность, искренность: «Этот немец, Крафт, не болтун и, я помню,

пречестный ...» [50, т. 13, с. 27], великодушность, отзывчивость (особенно это характерно для изображения немцев-врачей Ф. Достоевского), деловитость, трудоспособность, исполнительность, пунктуальность и профессионализм: «Мой старичок доктор пришел, как сказал, в десять часов. Он осмотрел больную со всей немецкой внимательностью...» [50, т. 3, с. 93], «Доктор Зальцфиш <...> довольно опытный практик <...> разогнал собрание, настаивая, чтобы больного не волновали» [50, т. 10, с. 391]; образованность (упоминание в романе «Преступление и наказание» известного астронома И. Кеплера: «Кеплеровы и Ньютоновы открытия...» [50, т.6, с. 192]; трезвость и рациональность. С другой стороны, немцы для писателя – скучные скупердяи: «И что мне за дело до всех этих скучных немцев?» [50, т. 3, с. 25]; «солдафоны»: «это был один из тех баронов Р., которых очень много в русской военной службе <...> чрезвычайных служак и фрунтовилов» [50, т.13, с. 174]; аккуратисты, ханжи и стукачи; Ф. Достоевского отталкивает их грубость, заносчивость: «Тут уж нечего брать в соображение всегдашнюю самодовольную хвастливость всякого немца исконную черту немецкого характера»; «...немец заносчив и горд, немец не потерпит непокорности» [50, т.23, с. 102] (ср. о немце бароне Вурмергельме в романе «Игрок»: «Идет – точно всех чести удостоивает. <...> горд, как павлин»); расчетливость и практичность, переходящие в страсть к стяжательству: «Все работают, как волы, и все копят деньги, как жиды, а в результате «лет эдак чрез пятьдесят или чрез семьдесят внук первого фатера действительно уже осуществляет значительный капитал и передает своему сыну, тот своему, тот своему...» [50, т.5, с. 81]. Как отмечает С. Жданов: «Это, по сути, эволюционный тип развития», связанный «со скоростью накопления денег» и замыкающий индивида «в жёстких рамках особого жизненного измерения „деньги – время”» [61, с. 143-145].

Основываясь на работе «Немцы в изображении Достоевского» М. Г. Гиголашвили, где автор систематизировал «константные сквозные образы-символы», такие как «немец-доктор (врач, медик, лекарь)» на основе

произведений «Двойник» и «Роман в девяти письмах»; «немка-хозяйка доходных домов, номеров, углов» («Двойник», «Хозяйка»); «немец-управляющий усадьбой, имением» («Как опасно предаваться честолюбивым снам»); «немцы-владельцы кафе, магазинов, кондитерских» («Бедные люди», «Двойник», «Слабое сердце»); «немцы-музыканты» («Неточка Незванова») [37], а, *также дополняя ее*, проводим систематизацию образов персонажей-немцев на основе романов Пятикнижия и публицистики Ф. Достоевского, а именно, считаем целесообразным выделить следующие *наиболее важные типы*: 1) немец-доктор (врач, медик, лекарь); 2) немцы-хозяева домов, квартир, «номеров», «углов» и т. д.; 3) немцы-чиновники; 4) немцы-военные [37].

Рассмотрим эти типы последовательно.

1. Тип русского немца-врача представлен Ф. Достоевским в романах «Униженные и оскорбленные», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание», «Бесы», в «Дневнике писателя», присутствующий практически в каждом произведении и проникнутый симпатией писателя: «Я знал одного доктора, холостого и добродушного старичка <...> самого добрейшего из всех немецких людей в Петербурге» [50, т.3, с. 35], доктор Зальцфиш, «...весьма почтенный старичок и довольно опытный практик, недавно потерявший у нас, вследствие какой-то амбициозной ссоры со своим начальством, свое служебное место» [50, т.10, с. 391], «человеколюбивый и «простодушный» («со всею прямою своего простодушия»), говорящий «по-русски много и охотно», увлекающийся русскими пословицами и любящий «состричь», старик-доктор Герценштубе [50, т.14, с. 273]; доктор Гинденбург: «...и в этом городе множество евреев, есть немцы, русские конечно, поляки, литовцы, – и все-то, все эти народности признали праведного старичка каждая за своего...» [50, т.25, с. 75]. В «Униженных и оскорбленных» наиболее привлекательно изображен безымянный, но довольно значимый персонаж романа – немец-доктор, врачующий Нелли: «самый добрейший из всех немецких людей в Петербурге», «старичок доктор» [50, т.3, с. 277], «тот самый доктор» [50, т.3, с. 271] – так называет его автор.

В целом следует сказать, что немцы как нация представлены в этом романе преимущественно в положительном свете. Одним из знаковых здесь является частое упоминание Шиллера, хотя бы и в апофатическом плане, поскольку в дискурсе князя Валковского оно неизменно приобретает комический оттенок как синоним прекраснодушного лживого романтизма. Сам же князь исповедует «демонический романтизм» аморальности, «увенчивает себя через оплевывание человека», и, по мнению, В. Г. Одинокова, является «одним из ранних представителей „бесовского“ начала» [133, с. 44-50].

2. Очень часто немцы представлены у Ф. Достоевского как хозяева домов, квартир, «номеров», «углов», управляющие именьями, усадьбами, владельцы кафе, магазинов, кондитерских, булочных, мастерских и т. д. Многие персонажи романов Ф. Достоевского, как отмечено в работе М. Г. Гиголашвили «Немцы и немецкое в „Преступлении и наказании“ Ф. Достоевского», снимают «углы», комнаты в домах, являвшихся собственностью немцев. К примеру, Мармеладов со своей семьей «проживает <...> в угле, у хозяйки Амалии Липпехель», Раскольников живет «в доме Шиля», Свидригайлов стоит на квартире у мадам Ресслих, Лужин – у «разбогатевшего немецкого ремесленника...» [цит. по: 36], Смит в «Униженных и оскорбленных» жил «в доме Клугена, под самою кровлею, в пятом этаже, в отдельной квартире» [50, т. 3, с. 57]. Интересно, что и сам Достоевский неоднократно проживал в арендованных у немцев квартирах: «с 1846 по 1847 года он сменяет несколько квартир, живет в доме Кохендорфа, Шиля, в квартире Бреммера» [36].

Одной из этих «хозяев комнат» на страницах романа представлена Амалия Липпехель, которая, несмотря на негативную характеристику ее Катериной Ивановной: «петербургская пьяная чухонка и, наверное, где-нибудь прежде в кухарках жила», «глупая немка <...> подлая прусская куриная нога в кринолине, чумичка <...> сычиха в новых лентах» [50, т.6, с. 231-247], проявляет себя и с положительной стороны: она пытается «произвести распорядок» среди жильцов, принимает участие в организации похорон Мармеладова, оказывает помощь его вдове: «Амалия Ивановна всем сердцем

решилась участвовать во всех хлопотах: она взялась накрыть стол, доставить белье, посуду и проч. и приготовить на своей кухне кушанье», улаживает неприятность за столом: «...но уж это было до такой степени неприлично, что стараниями Амалии Ивановны и полячка успели-таки его вывести» [50, т.6, с. 231-247].

В отдельную категорию можно выделить хозяек так называемых «борделей», личности которых наделены крайне негативными чертами, объединяющими их: скупостью, беспринципностью, жадной наживы, хваткой, а также «темной криминальной деятельностью». К примеру, немка Луиза Ивановна, «видная женщина», «очень полная и багрово-красная, с пятнами <...> что-то уж очень пышно одетая», улыбающаяся «трусливо и нахально вместе, но с явным беспокойством», хозяйка борделя, которую встречает Раскольников в полицейском участке – одна из них [50, т.6, с. 76].

Дарья Францевна, отмеченная автором лишь вскользь, характеризуется как «отъявленная женщина и не имевшая доверия», «сводня, торгующая „живым товаром“, молодыми девушками», «женщина злонамеренная и полиции многократно известная» [50, т.6, с. 188].

Следующая немка, входящая в данную группу, – Гертруда Карловна Ресслих, чей жуткий образ прописан более детально, – «пройдоха» и «шельма». Свидригайлов свидетельствует в романе о «своднических» делах мадам Ресслих: «А Ресслих эта шельма <...> она ведь что в уме держит: я наскучу, жену-то брошу и уеду, а жена ей достанется, она ее и пустит в оборот; в нашем слою, то есть, да повыше» [50, т.6, с. 253-257].

Кроме того, данный персонаж попадает еще под один пункт нашей систематизации, но уже как представительница немцев-ростовщиков. Лужин характеризует Ресслих как «иностранку и сверх того мелкую процентщицу, занимающуюся и другими делами» [50, т.6, с. 288-289].

В романе «Преступление и наказание» фигурирует и некий Кох, клиент старухи-процентщицы, скупавший «у нее просроченные заклады и внизу же серебренику их продававший» [50, т.6, с. 186].

Образы немцев-управляющих именьями, усадьбами присутствуют в романах Ф. Достоевского, иногда не неся какой-то определенной смысловой нагрузки: «Они стали воспитываться вместе с детьми управляющего Афанасия Ивановича, одного отставного и многосемейного чиновника и притом немца» [50, т.3, с. 22], так и с легкой иронией, например, в романе «Униженные и оскорбленные» князь В. прибывает в свое имение с целью «прогнать <...> управляющего, одного блудного немца <...> одаренного почтенной сединой, очками и горбатым носом, но, при всех этих преимуществах, кравшего без стыда и цензуры и сверх того замучившего нескольких мужиков. Иван Карлович был, наконец пойман и уличен на деле, очень обиделся, много говорил про немецкую честность; но, несмотря на все это, был прогнан и даже с некоторым бесславием» [50, т.3, с. 8-11].

Примером образов немцев-владельцев кафе, магазинов, кондитерских, булочных, мастерских и т. п. могут служить образы постоянных посетителей кондитерской Миллера в романе «Униженные и оскорбленные» «большую частью немцы» – «все хозяева различных заведений: слесаря, булочники, красильщики, шляпные мастера, седельники...» [50, т.3, с. 15]. Отмечая в данном романе проявление хотя и позитивного, но все же несколько «иронического взгляда на своих, петербургских немцев», М. В. Поник обращает внимание на сочетание немецкой «патриархальности, почитания традиций и приличий», проявлений взаимопомощи с «высокомерием», а нередко и с «тугоумием» [146, с. 99]. Но уже в романе «Игрок» персонажи-немцы лишаются какой бы то ни было «положительности», к примеру, барон Вурмергельм, отличающийся самолюбием, непомерной гордостью, меркантильностью, откровенной глупостью, в имени которого (нем. Wurm – «червь») акцентирована отрицательная коннотация. В дополнении к этимологии «червя» в фамилии Вурмергельм Николай Наседкин отмечает, что этот персонаж «по сути „червяк в квадрате”» [122] (нем. Wurm – «червь», «глист» + греч. Helmins – «червь», «глист»). «Впрочем, если и вторая половина фамилии образована от немецкого слова Helm (шлем, каска), то фамилию

чванливых барона и баронессы можно образно перевести как – червь в шляпе», – остроумно заключает исследователь [122]. Впрочем, и другие персонажи иностранцы в этом романе глазами нарратора Алексея Ивановича показаны исключительно в негативном свете.

3. Относительно незначительное, но весьма существенное для понимания позиции Ф. Достоевского занимают в его произведения немцы-чиновники. Критикуя современную писателю систему государственного управления, Ф. Достоевский сатирически обрисовывает образы немцев-чиновников Лембке и Блюма в «Бесах», высмеивая даже их положительные качества. О губернаторе, например, сказано: «высшую школу протерся и встретил в ней довольно подобных соплеменников», «учился довольно тупо, хотя его все и любили...», «свой собственный племенной язык знал он весьма неграмматически, как и многие в России этого племени», «круг знакомств его был довольно обширен, всё больше в немецком мире; но он вращался и в русских сферах, разумеется, по начальству», а когда невесту его Амалию все-таки выдали замуж «за одного старого заводчика-немца», то Лембке «не очень плакал <...> и скоро утешился» [50, т.10, с. 152-153].

Образ Блюма представлен писателем «почти карикатурой» на немецкого чиновника: «из странного рода „несчастных” немцев», которые «действительно существуют, даже в России, и имеют свой собственный тип»: «аккуратен, но как-то слишком, без нужды и во вред себе, мрачен; рыжий, высокий, сгорбленный, унылый, даже чувствительный и, при всей своей приниженности, упрямый и настойчивый, как вол, хотя всегда невпопад» [50, т.10, с. 177].

4. Одним из представителей немецкой нации, находящихся на военной службе, является флигель-адъютант барон Бьоринг из романа «Подросток» – «немчурка», «придворный немец», как называет его автор. Будучи женихом Катерины Николаевны, «надменный Бьоринг», вероятнее всего, рассчитывает на получение наследства: «Бьоринг все-таки не возьмет без денег» [50, т.13, с. 358], и, согласно слухам, «прямо предлагал Катерине Николаевне отвезти старика за границу, склонив его к тому как-нибудь обманом, объявив между



тем негласно в свете, что он совершенно лишился рассудка...» [50, т.13, с. 403]. В его поведении особенно выделена надменность, болезненное стремление сохранить свою репутацию; при этом очевиден контраст между внешней значительностью и ничтожностью личности, что достигается за счет «паронимии в именной идентификации персонажа – „барон Бьоринг”» [146, с. 177]. Подлинная его сущность выявляется позже, когда Бьоринг угрожает Анне Андреевне, грубиянит и дерзит, топает ногами, считая «себя вправе быть в высшей степени бесцеремонным», т.е. всем своим поведением выказывает себя «грубым солдатом-немцем, несмотря на весь „свой высший свет”» [50, т.13, с. 436]. Наряду с Бьорингом в романе присутствует еще один подобный персонаж «немецкого происхождения» – барон Р., «полковник, военный <...> тоже рыжеватый, как и Бьоринг, и немного только плешивый», «один из тех <...> которых очень много в русской военной службе, всё людей с сильнейшим баронским гонором, совершенно без состояния, живущих одним жалованьем и чрезвычайных служак и фрунтовики» [50, т.13, с. 259].

Исходя из этих наблюдений, подчеркнем, что на протяжении творческого пути Ф. Достоевского направленность изображения представителей немецкой нации в его произведениях переживает определенные изменения: если в «Преступлении и наказании», в «Бесах» персонажи немецкой национальности зачастую изображаются сатирически, то уже в 70-е годы в «Дневнике писателя» Ф. Достоевский положительно отзывается о немцах, отмечая, в частности, их усердность и старание. В целом двойственность представленных немецких типов у Ф. Достоевского отражает сложность оппозиции немецкого и русского «миров» в европейской культуре и культурологическую продуктивность этой оппозиции.

### **2.1.2. Образы французов.**

Довольно часто в произведениях Ф. М. Достоевского фигурируют представители французской нации (согласно нашим подсчетам примерно 256 упоминаний в художественных произведениях и 140 в публицистике).

Ф. Достоевский пытается выявить основные, наиболее часто встречающиеся черты французского национального характера, показать «типичного француза или француженку», но при этом характеризует их, прежде всего как «догматиков или скептиков» и относится к ним достаточно предвзято [50, т.6, с. 75].

Известно, что Ф. Достоевский в некоторые периоды своего творчества, в особенности в годы создания книги «Зимние заметки о летних впечатлениях» крайне резко отзывался о Западе и, особенно, о Франции; к политической системе которой он относился с большим скептицизмом, а, следовательно, и ее уроженцы также становились объектом критики писателя. В романе «Игрок», где главный герой-нарратор Алексей Иванович, используя уменьшительно-пренебрежительные названия – «французик», «мерзкий французишка» и т.д., характеризует представителей этой национальности с крайне негативной стороны [50, т.5, с. 277].

Характеристика Франции и французов в романе основывается, прежде всего, на образах Де-Грие и *mademoiselle* Бланш. Де-Грие – самозванный маркиз и плут, нахальный, корыстный, высокомерный и расчетливый тип. М. В. Поник справедливо указывает на параллель между образом Де-Грие и героем известного романа аббата Прево «История кавалера Де-Грие и Манон Леско», именем которого он и наделен. Но «носитель этой фамилии» в романе Ф. Достоевского трансформируется в «заурядного проходимца», ведь «азарт и страсть <...> разврат и стяжательство <...> занимают сердце, в котором, в отличие от персонажей французского романа-оригинала, не остается места достойным чувствам» [146, с. 94]. По мнению Алексея Ивановича, «французик», «скверный и мелкий процентщик Де-Грие», вместил в себе все негативные качества, присущие французской нации: он «как все французы <...> веселый и любезный, когда это надо и выгодно, и нестерпимо скучный, когда быть веселым и любезным переставала необходимость; способен моментально «из сердитого лица сделать улыбающееся, – тою скверною, официально-учтливою, французскою улыбкою...», как все французы «редко натурально

любезен <...> всегда как бы по приказу, из расчета...», «именно как французы умеет быть вежливым», состоит из «самой мещанской, мелкой, обыденной положительности, – одним словом, скучнейшее существо в мире» [50, т.5, с. 239-240].

Особая линия авантюриности в романе связывает самозванцев и аферистов Де-Грие и его так называемую «только очень дальнюю, какую-то кузину или троюродную сестру» [50, т.5, с. 221], *mademoiselle Blanche* – особу таинственную, хитрую и даже опасную. Так описывает ее в романе нарратор Алексей: *m-lle Blanche*, хотя и «красива собою», но «у ней одно из тех лиц, которых можно испугаться», «взгляд нахальный». Она, вероятно, «безо всякого образования, может быть даже и не умна, но зато подозрительна и хитра...» [50, т.5, с. 222], что удостоверяют и «темные» факты ее биографии.

Впрочем, достоверность «темных фактов» в биографии обоих самозванцев подтверждает и мистер Астлей: «Я питаю глубокое убеждение, что они не только не родня между собою, но даже и знакомы весьма недавно. Маркизом Де-Грие стал тоже весьма недавно <...> можно предположить, что он и Де-Грие стал называться недавно. Я знаю здесь одного человека, встречавшего его и под другим именем» [50, т.5, с. 247]. На протяжении повествования в романе меняется и имя *mademoiselle Blanche*: «*mademoiselle Blanche de Cominges* – Барберини – *mademoiselle Зельма* – *Blanche du-Placet* – госпожа генеральша Заго-Заго» [146, с. 94]. Как отмечает М. В. Поник, «ее облик связывается в сознании Алексея Ивановича с самим дьяволом и с темной стороной игры» и даже «ассоциируется с вращением игрового колеса» [146, с. 94] – «это дьявольское лицо умело в одну секунду меняться» [50, т.5, с. 72].

Также Ф. Достоевский указывает на проявление непорядочности и «двуличности» у француза-семинариста из романа «Идиот», который «нарочно допустил посвятить себя в сан священника, нарочно сам просил этого посвящения, исполнил все обряды <...> чтобы на другой же день публично объявить <...> что он, не веруя в бога <...> слагает с себя вчерашний сан...» [50, т.8, с. 476].

Особое место в анализе французской культуры в группе источников занимает публицистика Ф. Достоевского. В «Зимних заметках о летних впечатлениях», опубликованных в 1863 году, наряду с путевыми впечатлениями даны публицистические зарисовки разнообразных сторон жизни ряда западных держав, в особенности Франции и Англии. Автор «заметок» дает карикатурные иллюстрации социальных устоев Франции периода правления Наполеона III.

Описывая Париж, Ф. Достоевский соотносит образ столицы со всей Францией, а образ жизни буржуазной семьи – со всеми французами: «Француза, то есть парижанина (потому что ведь, в сущности, все французы парижане» [50, т.5, с. 82]. В «Заметках» резко критикуется «необычайное развитие шпионства во Франции» – шпионы на границе, система опроса в отелях и т.д., и «не простого, а мастерского шпионства, шпионства по призванию...», что «происходит у них от врожденного лакейства», а «француз любит <...> слакейничать»; лесть, присущую французам: «Где вы встретите <...> подобную лесть, кроме Франции?» [50, т.5, с. 82]. Схожие описания лицемерия, эгоизма, непорядочности в жизни французов встречаем и в романе «Игрок»: «Сволочь действительно играет очень грязно <...> тут у стола происходит много самого обыкновенного воровства <...> это большею частью французы» [50, т.5, с. 218].

Но сквозь произведения писателя наряду с крайне негативными образами французов проходят персонажи, к которым автор относится с симпатией, например, о хозяевах отеля он отзывается как о «пречестных, прелюбезных супругах», «очень хороших людях и чрезвычайно деликатных», а также «необыкновенно внимательных к своим постояльцам»; вспоминает «одного премилого, прелюбезного, предобрейшего старичка, которого <...> искренно полюбил»: «заглядывал мне в глаза, выпрашивая мое мнение о Париже, и ужасно огорчился, когда я не изъявлял особенного восторга...» [50, т.5, с. 84-85].

Через произведения Ф. Достоевского проходит ряд симпатичных автору сквозных образов французов-поваров, парикмахеров, гувернанток и т.д.: Катерина Ивановна в «Преступлении и наказании» упоминает об учителе гимназии, «одном почтенном старичке, французе Манго» [50, т.6, с. 298], в «Униженных и оскорбленных» – это француженка, «что-то вроде компаньонки, старушка», которая «очень добра» [50, т. 3, с. 352]; в «Подростке» – француз-парикмахер на Невском, «добросовестный <...> со вкусом» француз-портной, «замечательный француз-повар» [50, т.13, с. 88]; француз-учитель в «Бесах», «настоящий француз, который и обучил Дашу по-французски» [50, т.10, с. 59].

Несомненно, такое отношение напрямую зависело и от политической обстановки в данных странах, от сложившихся взаимоотношений между ними. Данные обстоятельства произвели значительное воздействие и на формирование образа Франции, в данном случае, ее «отрицательного», «негативного» образа, так как рамки нашего исследования распространяются вторую половину XIX века – время, когда «деградация национальной жизни французов» казалась Ф. Достоевскому необратимой, то есть это был период, когда Франция стояла перед выбором между «возможностью восстановления дважды поверженной монархии и увязшей в противоречиях республикой» [50, т.5, с. 84].

### **2.1.3. Образы англичан**

Вторую половину XIX века можно обозначить как «самый динамичный и насыщенный событиями» цикл взаимоотношений Великобритании и России. В данный период «обоюдное противостояния на Ближнем Востоке и в Центральной Азии», а также Крымская война 1853-1856 гг. послужили немаловажной причиной к возникновению «волны антибританских настроений» в России, но, вопреки этому, обеим нациям было присуще стремление к плодотворному развитию как «экономических и политических», так и общекультурных связей между странами [73, с. 4]. Общеизвестно, что российское общество постоянно проявляло интерес не только к политическому,

экономическому строю и культурным достижениям Англии, но и активно интересовалось устоявшимися национальными традициями, укладом жизни, спецификой характера англичан. На протяжении данного периода времени в России «накапливались знания» о стране, «трансформировался психологический облик англичанина», и, как отмечает З. С. Канонистова, «многие из качеств, которые сегодня воспринимаются как типично английские, были сформированы именно в XIX веке» [73, с. 5].

Отсюда, с прогрессированием заинтересованности русского общества в Англии, ее культуре, внимание к этой державе также возросло и в средствах массовой информации того времени: периодической печати, литературе, публицистике. Ф. Достоевский не мог оставить без внимания данный процесс – во многих его произведениях присутствуют образы англичан, хотя их характеристик значительно больше, чем конкретных персонажей (упоминаний о них, согласно нашим подсчетам, в художественных произведениях около 90, в публицистике – приблизительно 130).

В «Игроке» отношение Ф. Достоевского к Англии и англичанам отражено, прежде всего, в образе степенного и деловитого мистера Астлея, типичного представителя своей национальности. Честный, благородный, тихий и скромный мистер Астлей, племянник «настоящего лорда», выгодно отличается на фоне негативных персонажей романа, таких как француз Де-Грие, чета Вурмергельм или *mademoiselle Blanche* [50, т.5, с. 316].

Особое внимание уделено Великобритании в «Дневнике писателя» за 1877-й год, где она предстает «изначально враждебной интересам России». Ф. Достоевский отмечал «ведущую роль этой страны в разжигании европейских конфликтов, включая войну на Балканах»: «несомненно, что Англии принадлежит главная роль в интригах» [50, т.26, с.12], уверял, что ее цель – «настроить против нас славян»: Англии нужно, чтоб восточные христиане возненавидели нас всею силою той ненависти, какую она сама питает к нам», а премьера Англии, еврея Дизраэли, который угрожал России войной, называл «хищным пауком» [50, т.26, с. 12].

В «Зимних заметках о летних впечатлениях» Ф. Достоевский после посещения Лондона, «в котором он пробыл только восемь дней», говорит об экономических успехах этой страны, о высоком техническом уровне жизни, но в то же время находит в этом проявление «буржуазности»: «это смелость предприимчивости, этот кажущийся беспорядок, который, в сущности, есть буржуазный порядок в высочайшей степени...» [50, т.5, с. 69].

Г. С. Померанц отмечает, что Ф. Достоевского поразило то, что в Англии «мирно сочетались друг с другом: аристократизм и свобода, консерватизм и либерализм – и, наконец, то, что <...> амальгама христианства с гуманизмом, тогда как во Франции она распадалась и католичество сталкивалось с атеизмом...» [144]. Это наблюдение исследователя вполне соответствует характеристике из «Зимних заметок»: «Каждая резкость, каждое противоречие уживаются рядом со своим антитезом и упрямо идут рука об руку, противореча друг другу и, по-видимому, никак не исключая друг друга» [50, т.5, с. 69].

Как бы отрицательно порой ни высказывался Ф. Достоевский об Англии, англичане в его произведениях, как говорит Г. С. Померанц – «странные чужаки, иногда симпатичные, чаще непонятные, требующие разгадки и оставшиеся неразгаданными». Даже в «период своей жестокой европофобии, примерно с 1864 по 1874» [144], англичане «не вызывали в нем ненависти»; напротив, в «Дневнике» Ф. Достоевский характеризует их как «народ очень <...> умный и весьма широкого взгляда. Наблюдатели они необыкновенные и даровитые», отмечает их просвещенность: «Как мореплаватели, да еще просвещенные, они перевидали чрезвычайно много людей и порядков во всех странах мира. <...> У себя они открыли юмор, обозначили его особым словом и растолковали его человечеству....» [50, т.26, с. 71].

Еще более существенно, что герои романов Ф. Достоевского часто положительно высказываются об англичанах. Например, в «Бесах» упоминается «одно замечательное английское семейство»; Антонида Васильевна Тарасевичева в «Игроке» отмечает, что она «почему-то всегда любила англичан, сравнения нет с французишками!» [50, т.5, с. 256]. Да и сам

англичанин, мистер Астлей, представлен как положительный герой, охарактеризован как порядочный, честный человек: «Я никогда в жизни не встречал человека более застенчивого <...> он вовсе не глуп <...> очень милый и тихий», «честен», «на него <...> можно понадеяться, – из избы сора не вынесет. <...> Видно хорошего человека». Даже его поведение в рулеточном зале соотносится с общей национальной чертой: «мистер Астлей, который целое утро простоял у игорных столов, но сам не поставил ни разу» – «Множество посетителей, не играющих, но со стороны наблюдающих игру (преимущественно англичане с их семьями)» [50, т.5, с. 210, 224, 261].

#### **2.1.4 Образы поляков.**

Россия XIX века переживала «острейшие «национальные вопросы», возникшие как результат нескольких разделов Польши во второй половине XVIII столетия, послуживших мощным толчком к возникновению «польской проблемы» и «еврейского вопроса» по причине того, что после указанных событий белорусские и украинские земли с большим количеством еврейского населения стали принадлежать России. В течение 1860-1870-х годов эти вопросы оставались актуальными и постоянно обсуждались в российской публицистике.

Рассматривая особенности раскрытия польской проблемы в русской литературе и у Ф. Достоевского в частности, необходимо отметить, что в русской литературе негативные образы поляков появились намного раньше – уже в оде Державина «На взятие Варшавы» (1794) предстает лик «строптивой Польши», «гидры злобной» [цит. по: 55]. По мнению Орловского, в «Борисе Годунове» А. С. Пушкина польская и русская культуры также противопоставлены друг другу, более того, «восходят к разным источникам и исторически друг другу чужды» [цит. по: 55]. А драма Н. В. Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла» (1834) выделялась ярко выраженной антипольской направленностью. Уже после польского восстания 1863 г. в «антинигилистической беллетристике 60-х годов начал усердно



разрабатываться мотив всепроникающей „польской интриги”» [цит. по: 55]. У Тургенева и Чехова поляки тоже далеко не положительные образы. Но все же, наиболее негативное отношение к полякам имело место именно в произведениях Ф. Достоевского, где их образы представлены «фигурами комическими», «просто карикатурными». То есть, проявляя сочувствие даже к преступникам, «реабилитируя людей павших», писатель к «полякам не чувствовал ничего, кроме презрения» [102]. Персонажи польской национальности появляются на протяжении всего творчества Ф. Достоевского (по нашим подсчетам в художественных произведениях примерно 60 упоминаний, в публицистике – около 30), причем, одним и тем же, «почти схематичным образом»: образ поляка, как правило, всегда эпизодический, все персонажи безлики, обладают очень схожими, практически идентичными чертами: «суесящиеся изо всех сил», навязывающие свои услуги, «хоть на посылки», «очень юлящие поляки», «был один увивавшийся полячок» [50, т.8, с. 95]. Даже в «Бесах», где Ф. Достоевский отводит полякам самое незначительное место, в свите Юлии Михайловны, где «распушенность принималась за веселость, а грошовый цинизм за ум» проскакивает образ «какого-то заезжего, очень юлившего поляка» [50, т.10, с. 348]. В «Игроке» «лакеи и некоторые другие суесящиеся агенты (преимущественно проигравшиеся поляки, навязывающие свои услуги счастливым игрокам)» беспрестанно суесятся вокруг бабушки, они же, «руководившие бабушку, сменялись в этот день несколько раз», наконец «явился третий поляк <...> одетый джентльменом, хотя все-таки смахивавший на лакея, с огромными усами и с гонором», целовал «стопки паньски» и «стелился под стопки паньски», в конце концов, «за стулом ее стояло уже до шести полячков, прежде невиданных и неслыханных», но, «разумеется <...> ожидая впоследствии подачки!» [50, т.5, с. 281].

Поляк у Ф. Достоевского – «позёр и гордец», изображающий из себя аристократа «с необъятным культом чести», но впоследствии всегда разоблаченный или же уличенный в мошенничестве или краже: «А эти

полячишки <...> право, я боюсь за хозяйские серебряные ложки!» – говорит Катерина Ивановна в «Преступлении и наказании» [50, т.6, с. 294]. В «Игроке» «Потапыч божился, что „гоноровый пан” перемигивался и даже что-то <...> передавал в руки» другим полякам, видимо, мошенничая во время игры [50, т.5, с. 283].

В «Братьях Карамазовых» поляки также являются в своих «характерных позах», «полных гордости и собственного достоинства», и тут же выказывают себя «мошенниками, шулерами», например, подменившими колоду карт во время игры: «поляки в картах передернули» [102]. Даже хозяин постоянного двора, заметив их непорядочность, не церемонится с польскими панами, обращаясь к Врублевскому с «какою-то непонятною даже невежливостью» (при этом обращает на себя внимание ремарка нарратора «непонятною»): «Ты в поддельные карты играл! Я тебя за поддельные карты в Сибирь могу упрятать...». Непорядочность поляков как представителей нации отмечает впоследствии и Митя Карамазов: «Так и отдаст тебе польский игрок миллион!» [50, т.14, с. 384-385].

Более того, их беспринципность переходит все границы: когда на постоялом дворе проигравшийся Митя предлагает поляку деньги, чтобы тот отрекся от Грушеньки, пан готов уступить свою любовницу, «да только все три тысячи разом захотел» [50, т.14, с. 388]. И, несмотря на это, пан Муссялович, «полячоночек мозглявенький» (по словам Ракитина), «чиновник двенадцатого класса в отставке, ветеринар» [50, т.14, с. 324], не стыдится прислать Грушеньке «чрезвычайно длинное и витиеватое по своему обыкновению письмо, в котором просил ссудить его тремя рублями». Даже находясь в «страшной бедности, почти в нищете...», кланя деньги: «Ну, так и есть, опять от поляков, опять денег просят!», оба пана не могут расстаться «с заносчивою важностью и независимостью, с величайшим этикетом, с раздутыми речами» [50, т.15, с. 8]. В суд поляки являются также «гордо и независимо», но в результате «удалились с некоторым срамом, даже при смехе публики» [50, т.15, с. 101].

Как видим, в отношении поляков Ф. Достоевский создал тип, который присутствует практически во всех его романах, – тип «полячишки», «полячка», обманщика и негодяя, носителями мошенничества, хотя и ссылающегося постоянно на свою честь, «гонор» [50, т.14, с. 385, 452]. Е. В. Никольский, цитируя Е. Стемповского, подчеркивает, что образ поляка у Ф. Достоевского состоит из «двух противопоставленных друг другу частей: одна <...> из обидчивого самолюбия и гордости, несколько формальной патриотической печали, «мистической веры» в свои достоинства, вторая – из ловкости воришек <...> полного отсутствия угрызений совести и достоинства» [125, с. 102].

Одновременно Бронислав Лаговский пишет о том, что Ф. Достоевский очень точно подметил «определенный тип поляка, встречающегося в общественной жизни», хотя в то же время есть и другие представители польского народа, «ведущие скромную жизнь, занятые ежедневным трудом» [102].

Зигмунт Калужиньский, отмечая, что по-настоящему Ф. Достоевский познакомился с поляками на каторге, ссылается на воспоминания одного из участников восстания Шимона Токаржевского: «польские узники сразу распознали в писателе «чужого», как православного агитатора <...> и демонстративно не хотели общаться с ним», и делает вывод, что отношение Ф. Достоевского к полякам – всего лишь месть «за это презрение» [72]. Несомненно, можно считать такое умозаключение «слишком поверхностным», предлагая несколько иное небезынтересное толкование данного феномена, а именно «моральную систему писателя», для которого определяющее роль играло так называемое «очищение» [72]. Поляки, встретившиеся писателю на каторге, являлись «мессианистами, верившими в миссию Польши – мученицы за другие народы, что наполняло их высокомерием», и не признавали «падение, а затем искупление, предполагаемое Достоевским» [72], что, по всей видимости, и вызывало его агрессию.

Но, наверное, самым существенным «ключом» к пониманию польской проблемы есть тот факт, что поляки были «главной единой группой с римско-

католическим образованием», с которой пришлось столкнуться Ф. Достоевскому [72]. Откровенно высказывая свое категоричное неприятие католицизма, он пишет в «Ответе редакции „Времени“ на нападение „Московских ведомостей“», что «европейская цивилизация <...> в Польше», будучи «цивилизацией общества высшего», лишенной «земских элементов» и удаленной «от народного духа», выработала «антинародный, антигражданственный, антихристианский дух. <....> нигде <...> католицизм не получал такой степени прозелитизма, как в Польше», «у них вся цивилизация обратилась в католицизм» и утверждает, что поляков, «несмотря на всю их гордость этой цивилизацией», она и сгубила. Безусловно, мысль эта отличается предвзятостью и высказанная в явном полемическом исступлении [50, т.20, с. 99].

Для сопоставления приведем понимание «польской проблемы» Николаем Александровичем Бердяевым. В книге «Судьба России», исследуя взаимоотношения русских и поляков, он делает заключение, что неприязнь между этими народами, «не может быть объяснена лишь внешними силами истории и внешними политическими причинами», так как «источники вековой, исторической распри России и Польши лежат глубже», и необходимо изучить «духовные причины этой вражды и отталкивания» [15, с. 156]. Согласно его теории, причина – в непонимании между двумя «славянскими душами», «распря души православной и души католической», то есть «внутри славянства произошло столкновение Востока и Запада» [15, с. 166]. Единственный путь к осознанию, по мнению Н. Бердяева, лежит через искупление Россией «своей исторической вины перед народом польским», в понимании «чуждой ему в душе Польши», со стороны же польской – в «освобождении от ложного и дурного презрения, которому иной духовный склад кажется низшим и некультурным» [15, с. 166].

Схожим представляется и мнение известного польского поэта XX века Чеслава Милоша, который считал, что надежда на понимание в будущем есть, так как, хотя «поляки и русские не любят друг друга», и даже обоюдно

испытывают «все оттенки неприязни, вплоть до презрения, отвращения и ненависти», но это вовсе «не исключает неясного взаимного влечения» у них друг к другу [115, с. 164].

### **2.1.5. Образы евреев.**

Рассматривая образы еврейского народа в творчестве Ф. М. Достоевского, и, соответственно, проблему «антисемитизма» писателя в культурно-историческом и лично-биографическом планах, считаем необходимым отметить, что изначально недоброжелательное, антагонистическое отношение к еврейской нации обнаружилось сразу после трансформации христианства в господствующую религию еще в 6 веке н.э. Внешней причиной этому было отрицание евреями Христа в качестве мессии и отвержение Нового Завета, что привело в христианских странах к безжалостным преследованиям и притеснениям евреев. По утверждению Владимира Сергеевича Соловьева, «еврейский вопрос есть вопрос христианский. Проходя через всю историю человечества, с самого ее начала и до наших дней (чего нельзя сказать ни об одной другой нации), еврейство представляет собой как бы ось всемирной истории» [165, т.1, с. 145].

В XIX веке в России обнаруживается «устойчивый интерес» к данной проблеме: историки, писатели, публицисты начали обращать заметное внимание на «еврейский вопрос», причем исследования были достаточно разноплановыми, к примеру, Н. А. Бердяев исследует своеобразие исторического пути еврейского народа, В. С. Соловьев – еврейский вопрос как национальный, Р. Ю. Данилевский изучает роль религии в «цивилизации еврейской», Ф. М. Достоевский – положение евреев в российском государстве, их влияние и взаимодействие с различными сферами русской жизни, интеграцию в экономическую, политическую и культурную жизнь страны.

Русские писатели XIX века в немалой степени были заражены антисемитизмом, проявления которого заметны в высказываниях И. С. Аксакова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, Н. С. Лескова, А. И. Куприна.

В произведениях Ф. Достоевского практически все евреи, начиная с Исаия Фомича Бумштейна («Записки из Мертвого дома») – негативные персонажи, «одновременно опасные и жалкие» [146]. Писатель не уделяет много внимания евреям в своих произведениях (всего нами отмечено 46 упоминаний). Евреев нет среди главных героев, их образы, как правило, второстепенны, мимолетны, схематичны, но практически всегда связаны с какими-то темными, грязными «делишками», махинациями. В таком духе описаны евреи уже в «Униженных и оскорбленных»: «один из них что-то украл и даже успел тут же продать какому-то подвернувшемуся жида»; «Он <...> только что кончил одну не литературную, но зато очень выгодную спекуляцию и, выпроводив наконец какого-то черномазенького жидка, с которым просидел два часа сряду в своем кабинете» [50, т.3, с. 423].

В последующих произведениях нарраторы, как правило, говорят о евреях в пренебрежительном тоне, называя их «жидками», жидишками», «жиденятками» [50, т.14, с. 453], [50, т.10, с. 354]. Лишь в «Игроке» автор говорит о евреях с легким оттенком симпатии, когда «какой-то франкфуртский жид», который «все время стоял подле» Алексея и даже «помогал ему иногда в игре», и его товарищ сочувственно советуют оставить ему игру: «Уходите, уходите <...> уезжайте завтра утром непременно, как можно раньше, не то вы все-все проиграете...» [50, т.5, с. 294].

В романе «Бесы» Ф. Достоевский красочно описывает «жидка» Лямшина, «мастера на фортепиано», нарекая его «бездельником» [50, т.10, с. 190], мерзавцем, «негодяем», мошенником «безо всякой точки», «раболепно заискивающим у Петра Степановича» [50, т.10, с. 252, с. 322]. Спустя некоторое время после убийства Шатова именно он первым «не вынес» и явился с повинной к начальству, перед которым «ползал на коленях, рыдал и визжал, целовал пол, крича, что недостойн целовать даже сапогов стоявших перед ним сановников» [146 с. 179]. Очевидно, что в таком описании подчеркивается не столько раскаяние Лямшина, сколько стремление облегчить таким поведением свою участь.

Не ставя в своих художественных произведениях еврейский вопрос «во главу угла», Ф. Достоевский, так сказать, мимолетно бросает «попутные замечания, реплики в сторону евреев» [122]. Например, в «Преступлении и наказании» он иронически называет Ахиллесом «безымянного персонажа, говорящем с еврейским акцентом», «закутанного в серое солдатское пальто и в медной ахиллесовой шапке», пожарного-еврея, на лице которого «виднелась та вековая брюзгливая скорбь, которая так кисло отпечаталась на всех без исключения лицах еврейского племени» [50, т.6, с. 394].

Еврейскому вопросу уделено серьезное внимание в публицистике Ф. Достоевского; где он исследовался писателем в контексте «национальной политики России», рассматривались особенности исторических судеб еврейского народа, причем, еврейская тема у Ф. Достоевского довольно противоречива и в основном остается неприязненной. Видимо, глубокие противоречия, присущие в целом мировоззрению писателя, привели его к созданию таких образов представителей еврейской национальности, в которых множество «карикатурных искажений» сочетается с тонким пониманием исторических судеб еврейского народа [77, с. 6]. В данном аспекте возникает необходимость рассмотреть и так называемый бытовой «антисемитизм» Достоевского, который проявляется в приватной корреспонденции, где он, касаясь злободневного вопроса, был более чистосердечен. Например, Н. Н. Наседкин отмечает, что Ф. Достоевский в письмах к жене из Эмса, где он пребывал на лечении пишет: «Сосед мой – русский жид, и к нему ходит множество здешних жидов, и все гешефт и целый кагал...»; «всё такие гадкие жидовские рожи...»; «...и всё подлеишие жидовские и английские рожи...» [122].

Ф. Достоевского в этой связи пытается оправдать В. Н. Захаров, предполагая, что «такая раздражительность» у писателя «распространялась не только на соседей, но и на жену иногда, самые разные могли быть ситуации...», и считает, что в данном случае «не имеет смысла придавать данному факту такое большое значение» [64, с. 140]. Согласно Н. Н. Наседкину,

Ф. Достоевский «очень четко разделял понятия» «еврей» и «жид» и в переписке с Ковнером пытался убедить оппонента в том, что он «вовсе не враг евреев и никогда им не был» [122]. Писатель в своей выдающейся статье «Еврейский вопрос» (март 1877 г.) пишет: «...не потому ли обвиняют меня в „ненависти“, что я называю иногда еврея „жидом“? Но <...> я не думал, чтоб это было так обидно <...>, а во-вторых, слово „жид“ <...> я упоминал всегда для обозначения известной идеи: „жид, жидовщина, жидовское царство“ <...> обозначалось известное понятие, направление, характеристика века», когда «чуть-чуть не весь нынешний мир полагает свободу в денежном обеспечении и в законах, гарантирующих денежное обеспечение...» [50, т.25, с. 62]. «Жидом», по Ф. Достоевскому, «может быть и русский, и татарин. Еврей не в состоянии перестать быть евреем, даже если сменит паспорт и фамилию, а вот жид перестать быть жидом, превратиться в человека вполне может» [122].

Исходя из этого, очевидно, что слово «жид» у Ф. Достоевского – не «национальный, а социальный признак», а из этого понятен и ход мысли Ф. Достоевского о «русском» и «еврее» как о социальных классах [122].

Несмотря на восприятие Ф. Достоевским евреев как «эксплуататоров и кровососов», он признает, что «чуть ли не девять десятых их – буквально нищие, мечутся из-за куска хлеба, предлагают куртаж, ищут где бы урвать копейку на хлеб...» [50, т.25, с. 89]. Поэтому на страницах «Дневника» возникают образы «бедных евреек», «усталой старухи еврейки, матери родильницы, в лохмотьях суевающейся у печки», «еврея, выходявшего за вязанкой щепок», двух малолетних еврейчиков, спящих на войлочной подстилке, «бедного новорожденного еврейчика» [50, т. 25, с. 91].

И хотя в публицистике Ф. Достоевского евреи тоже часто именуется как «жиды», «жидки», «жидовщина» и т.п. (по подсчетам – 33 раза), уже в своем «Дневнике» за 1877 год писатель часто называет их евреями (согласно нашим подсчетам – 66 раз). В «Дневнике» за март 1877 года Ф. Достоевский посвящает полностью еврейскому вопросу 2-ю главу, где, наряду с другими актуальными вопросами, рассматривает и вопрос социального, экономического и



политического положения евреев в России. Он убежден, что условия проживания евреев в России не настолько уж плохи, «права евреев в последние двадцать лет значительно расширились», да и до 1861 года «евреи пользовались личной свободой, которой не знало крепостное крестьянство», сравнительно с ними русский народ «несет тягостей чуть ли не больше еврея», да и «двадцать три миллиона русской трудящейся массы терпели от крепостного состояния несравненно больше еврея с его несвободой места жительства...» [50, т.25, с. 77-78]. Даже указ 1791 года, ограничивающий евреев в выборе места поселения не ставил их «в менее благоприятное положение сравнительно с христианами», так как и определенные категории русского населения точно также не обладали правом «свободного перемещения из одной губернии в другую» [50, т.5, с. 294]. Считая, что «нет в целом мире народа, который бы столько жаловался на свою судьбу <...> на свою приниженность и страдания», отрицая тот факт, «что евреи – нация униженная и оскорбленная», Ф. Достоевский пишет в письме к А. Г. Ковнеру, своему знакомому еще со времен каторги: «Напротив, это русские унижены перед евреями во всём, ибо евреи, пользуясь почти полною равноправностью <...> кроме того, имеют и свое право, свой закон и свое status quo, которое русские же законы и охраняют» [50, т.29, кн.2, с. 141].

Николай Наседкин в своем исследовании вопроса «Достоевский и евреи» приводит интересные факты, согласно которым, в основном – в частной переписке, «в молодости и даже в более поздние годы <...> Достоевский имел привычку в шутку сравнивать кого-нибудь с „жидом“, а бывали случаи, что сравнение такое относил он и к собственной персоне» [122]. С. В. Белов, занимающийся изучением биографии Ф. Достоевского, предоставляет факты «очень близкой дружбы» писателя с «37-ю евреями» [12, с.38]. К тому же Ф. Достоевский одобрил закон от 27 ноября 1861 г., который предоставлял больше «гражданских прав евреям», а также вместе с братом в журнале «Время» в 1862 году напечатал статью журналиста-еврея Петра Лякуба, выпускника раввинского училища. И лишь с началом издательства журнала

«Гражданин» и с «Дневника писателя» в мировоззрении Ф. Достоевского произошли кардинальные изменения перелом, что было вызвано определенно социальными причинами. Александр Левинтон видит причину проявления «антисемитизма» у писателя в том, что само «существование еврейства является вызовом христианству и, прежде всего, русскому православию» [108]. Восхищаясь «тайной неистребимости еврейского народа («такой живучий народ, такой необыкновенно сильный и энергичный народ, такой беспримерный в мире народ»), его фанатизму и преданности собственной религии: «Еврей без Бога как-то немыслим <...> не верю я даже в образованных евреев-безбожников», Ф. Достоевский испытывал «духовную зависть» и «искренне желал» увидеть свой народ «как сформированный православием» [122]. Но, наперекор собственному антисемитизму Ф. Достоевский, по словам С. Ю. Дудакова, «все-таки нашел в себе мужество призвать русских и евреев к сотрудничеству – „Но да здравствует братство!“» [52, с. 59]. В спорах о русских и евреях он даже становится на сторону последних: «А между тем, чем вреден еврей?», пытается их оправдать: «Если и есть дурные качества в еврейском народе, то единственно потому, что сам русский народ таковым способствует, по русскому собственному невежеству своему, по необразованности своей, по неспособности своей к самостоятельности, по малому экономическому развитию своему...» [50, т.25, с. 83].

Рассмотрим антисемитизм Ф. Достоевского в двух планах – с точки зрения рационального самоанализа и в психоаналитическом плане. Способ «самореабилитации» писателя основан на его характеристике социально-исторического положения евреев в России, на анализе своего личного к ним отношения. Размышления Ф. Достоевского вполне рациональны и объективно взвешивают отношения русских и евреев, что должно выступать гарантией чистосердечности и объективности писателя. Однако при психоаналитическом подходе именно рациональность Ф. Достоевского является настораживающим моментом. Напомним, что в психоанализе «рационализация» представляет

собой одну из форм бессознательного укрывания истинного мотива, обнаружение которого нежелательно для человека. Классический пример этого: человек объясняет свое нежелание выходить из дому тем, что идет дождь, при этом «умалчивая» о своей боязни встретить на улице неприятного ему знакомого. Не проявляет ли и Ф. Достоевский такую же рационализацию в своей статье о еврейском вопросе?

Ответ на этот вопрос в психоаналитическом ключе мог бы быть, безусловно, положительным, если бы у нас не было еще более надежного критерия – отношения к евреям в художественных произведениях писателя. В них мы имеем дело с особой «правдивостью» эстетической образности, о которой говорил Т. Адорно (см. приведенную выше цитату). Как, например, следует понимать такие слова о еврее из романа «Преступление и наказание»: «На лице его виднелась та вековечная брюзгливая скорбь, которая так кисло отпечаталась на всех без исключения лицах еврейского племени» [50, т.6, с. 394]. Ключевое слово в этой – «скорбь», имеющее следующие значения: скорбь личная, скорбь исторической судьбы, сплетенной с Божественной волей. Вопрос в том, как воспринимается эта «скорбь». Еврею приходится нести ее поневоле (ведь она «брюзгливая» принимается «кисло») и поэтому он почти недостоин ее. Значит, еврей этот (представитель еврейства вообще) «не соответствует прежде всего своей национальной судьбе, и это нежелание разделить ее (и уж тем более со Христом) и есть то, что неприемлемо для Достоевского и с общечеловеческой точки зрения» [176, с. 55-56]. Даже этот один пример является доказательством того, что уровень художественный может удостоверить «искренность» Достоевского-публициста, отстаивавшего приоритет общечеловеческого («всечеловека»). Безусловно, художественное творчество писателя должно быть рассмотрено в целом, то есть, подход, названный здесь психоаналитическим, может верифицировать традиционный культурно-исторический подход.

Как видим, образы «реальных иностранцев» создавались Ф. Достоевским, особенно в произведениях 1960-х, по преимуществу в контексте

«почвеннической» ориентации писателя. Наиболее наглядно об этом свидетельствует роман «Игрок», в котором автор в художественной форме излагает личное видение взаимоотношений России и Европы, впервые детально исследует феномен «русского скитальца» или «русского иностранца». Создавая образы героев-иностранцев (немцев, французов, англичан, поляков), Ф. Достоевский передает через них свой взгляд, нередко слишком категоричный и утрированный, на представителей различных западных наций. В этом же романе оформляется «русская идея» Ф. Достоевского, определяются важнейшие составляющие его концепции национального характера. В данном случае существенным элементом выражения отношения автора к судьбам России и западного мира является способ именования героев романа, когда каждое имя в силу насыщения национальным и литературно-алюзивным компонентом, приобретает обобщающе-смысловое значение. Вместе с тем, уже здесь заметны присущие Ф. Достоевскому противоречия в изображении русских и иностранцев: из многочисленных русских в романе «почвенническим» идеям соответствует разве что Антонида Васильевна Тарасевичева (да и то с оговорками), все остальные же персонажи, включая нарратора Алексея Ивановича, оторваны от русской «почвы», и поэтому приписывание того, что говорит об иностранцах нарратор, самому Ф. Достоевскому, как это делают некоторые исследователи, требует дальнейшей коррекции.

## **2.2. Тип «условного» иностранца в произведениях Ф. Достоевского.**

Второй выделенный нами тип в системе персонажей Ф. М. Достоевского обозначен как «условные» иностранцы, т.е. персонажи, чаще всего эпизодические или внесюжетные, которые заявлены нарратором как иностранцы, но никак не подтверждающие своей национальной специфичности. В их изображении нет детализации национального в его идеологически значимом смысле, важном в целом для Ф. Достоевского.

Данные образы впервые появляются в романе «Униженные и оскорбленные». Помимо многочисленных, вскользь упомянутых иностранцев, посетителей кондитерских и прочих питейных и продовольственных заведений, таков англичанин Иеремия Смит, дед Елены-Нелли. Он важен для нарратора, начинающего писателя Ивана Петровича, просто как человек, имеющий прямое отношение к описываемой истории. Его принадлежность к иностранцам имеет только тот смысл, что корни рассказываемой истории идут за пределы основного пространства романа – Петербурга. Правда, значимой может показаться таинственность этого героя. Таким он предстает в предощущениях нарратора: при случайной встрече с ним он «тотчас почувствовал, что в тот же вечер со мной случится что-то не совсем обыденное» [50, т.3 с. 188], а также в окружении соседей, которые о нем «почти ничего не знали», кроме того, что Смит был «из иностранцев, но русский подданный...» [50, т.3, с. 191]. Но таинственен Смит не потому, что он «иностранец», а лишь из-за того, что не проясненной пока остается роль, которую он будет играть в рассказываемой истории.

Есть в романе «Униженные и оскорбленные» и другие упоминания об «иностранцах». Князь Валковский высказывает мнение о немцах вообще, опираясь на бытовавший в то время в российской среде национальный стереотип. Таков в одном из его рассказов некий немец-философ, «дурак», в его оценке «какой-то дурак философ (без сомнения, немец)», который «зафилософствовался до того, что разрушил всё, всё, даже законность всех нормальных и естественных обязанностей человеческих, и дошел до того, что ничего у него не осталось; остался в итоге нуль, вот он и провозгласил, что в жизни самое лучшее – синильная кислота...» [50, т.3, с. 412].

Другой персонаж «Униженных и оскорбленных» Маслобоев часто апеллирует к распространенному стереотипу немца-романтика. У него это «влюбленный <...> идеальный человек, братец Шиллеру, поэт, в то же время купец, молодой мечтатель, одним словом – вполне немец...» [50, т.3, с. 372]. Да и нарратор примерно в таком же ключе говорит о немце добряке-докторе.

Правда, тут есть особенность подачи его «немецкости». Иван Петрович сообщает вначале о том, что он «знал одного доктора, холостого и добродушного старичка, с незапамятных времен жившего у Владимирской вдвоем со своей экономкой-немкой» [50, т.3, с. 277], и в этом первом упоминании о нем не сказано, что он немец. Другими словами, принадлежность к немцам (иностранцам вообще) не является тут признаком, по которому определяют человека в целом, тем более его идеологическую позицию. При этом национальная принадлежность в характеристике человека вовсе не отбрасывается («экономка-немка» – как раз такое именование, да и доктор впоследствии назван «добрейшим из всех немецких людей в Петербурге») [50, т.3, с. 372], но она оказывается характеристикой не первостепенной важности, вторичной. Более важны черты, так сказать, общечеловеческие: «добродушие», «холостое» положение, а не национальная выделенность [50, т.3, с. 277].

Ясно, что такая принадлежность к иностранцам еще не имеет идеологических коннотаций, специфических для «автора», то есть для Достоевского-«почвенника».

Приведем еще один пример «случайного», лишённого идеологического смысла косвенного упоминания о национальной принадлежности персонажа: «Генрих писал ей по немецкому обыкновению письма и дневники...» [50, т. 3, с. 436]. Подтверждением несущественности национальной идентификации служит также тот факт, что Маслобоев в «Униженных и оскорбленных» не придает значения точности фамилии данного персонажа, как впоследствии выясняется Генриха Зальцмана. «То есть это фамилия его Феферкухен? – Ну, может, и не Феферкухен, черт его дери, не в нем дело...» (возникающие дальше варианты фамилии весьма разнообразны: Фрауенмилх, Фейербах, Брудершафт и т.д.). Важны лишь так называемые типичные черты, присущие иностранцам: «вполне немец, Феферкухен какой-то», «...тот дурак философ (без сомнения, немец)»; «очень обидчивый и щекотливый, как и вообще все «благородные» немцы» и т.д. [50, т.3, с. 336-337]. Кроме того, в характеристике данного персонажа, т.е. Генриха Зальцмана, благодаря детализации Маслобоева,

выделено особое отношение к литературе: «идеальный человек, братец Шиллеру, поэт, в то же время купец, молодой мечтатель...» [50, т.3, с. 336-337]. Необходимо отметить, что для творчества Ф. Достоевского свойственно присутствие в своем роде условного, «шиллеровского героя». Как известно, сам Ф. Достоевский был воспитан на произведениях этого известного немецкого писателя, и считал, что «Шиллер, действительно, вошел в плоть и кровь русского общества <.....> Мы воспитались на нем, он нам родной и во многом отразился на нашем развитии» [50, т.19, с. 17].

Образ эдакого «доброго человека», шиллеровского «мечтателя», представленный Генрихом Зальцманом, характерен для раннего Достоевского: это своеобразный «печальный рыцарь», «эмблема» честности и преданности [37]. М. Г. Гиголашвили в своем исследовании данного вопроса соглашается с мнением М. С. Альтмана, утверждавшего, что различные имена персонажа указывают не так на самого Фейербаха, как на «тех, которые кажутся идеалистами и романтиками („идеальный человек, братец Шиллеру, поэт”», а на самом деле «ловко устраивают свои дела» („в то же время купец”))» [2, с. 164-165].

Значимым является и то, что многие персонажи, отнесенные нарратором к иностранцам (немцам), по некоторым признакам таковыми являются не вполне. Как считает М. В. Поник, писатель в данном случае следует «гоголевской традиции», удостоивая этих персонажей «иностраннным именем и русским отчеством – например, Адам Иваныч, или русским именем и иностраннным отчеством – Федор Карлович» [146, с. 82].

Это, согласно мнению М. Г. Гиголашвили, акцентирует внимание на их двойственном и противоречивом состоянии: «с одной стороны, русские немцы не желали терять языка, религии, обычаев, менталитета и в то же время должны были внедряться в русский быт, чтобы выжить, жить и даже богатеть» [37].

Кроме Феферкуфена в романе «Униженные и оскорбленные» к «условным иностранцам» можно отнести и Смита: «дедушка был англичанин, но тоже как

русский», «чудак какой-то англичанин...»; «Я только так сказал: англичанин, для сравнения, а ты уж и подхватил...» [50, т.3, с. 336].

Характеристика англичан Ф. Достоевским как нации «чудаков» заметно прослеживается и в других произведениях писателя. Например, в «Игроке»: «появится вдруг какой-нибудь чудак <...> англичанин» [50, т.5, с. 215]. В «Дневнике писателя» находим почти полное соответствие такой характеристике: «всякий англичанин чудак и эксцентрик...» [50, т.26, с. 71].

Особое значение имеет в произведениях Ф. Достоевского упоминание имени Шиллера. М. Г. Гиголашвили утверждает, что «Шиллер для Достоевского – это вечный символ <...> обобщение, которым писатель обычно обозначает такие романтические реалии, как чистота души, безгрешность, наивная доброта, неумение обдѣлывать свои дела, устраиваться в земном миропорядке. Шиллеровская душа – это прекрасная душа» [36]. В этом смысле знаменательна реплика Раскольникова в «Преступлении и наказании», когда он обдумывает письмо от матери с известием о намерении сестры Дуни выйти замуж за Лужина: «И так-то вот всегда у этих шиллеровских прекрасных душ бывает: до последнего момента рядят человека в павлиньи перья, до последнего момента на добро, а не на худо надеются...» [50, т.6, с. 37].

Ф. Достоевский соотносит данные черты и с характеристикой некоторых представителей русского интеллигентного общества, отмечая, что «иные из них почти невинны, почти Шиллеры; их незнание «дел» придает им почти нечто трогательное, но чувство чести в них сильное: он застрелится, как Гартунг, если, по своему мнению, потеряет честь» [50, т. 26, с. 6]. Порфирий Петрович в «Преступлении и наказании» также уподобляет себя Шиллеру: «Вы чего опять улыбаетесь: что я такой Шиллер?» [50, т. 6, с. 352]. Даже Свидригайлов, называя Раскольникова Шиллером, восхищается «великим германцем»: «Вы – Шиллер, вы – идеалист! <...> А, кстати, вы любите Шиллера? Я ужасно люблю...» [50, т. 6, с. 362].

Иное отношение к Шиллеру демонстрирует князь Валковский из «Униженных и оскорбленных», заявляя о том, что ему изрядно надоели «все



эти невинности <...> вся эта шиллеровщина», и требуя разрыва своего сына с Наташей. Он просит главного героя устроить все так, «чтоб не было «сцен, пасторалей и шиллеровщины» и упрекает его, что он «как какой-нибудь Шиллер, за них же распинаетесь, им же прислуживаете...» [50, т.3, с. 359].

Интересен тот факт, что в романе «Братья Карамазовы» рационалист Иван Карамазов поворачивается неожиданной стороной Алеше, когда вдруг «доказывает», что «и он может читать Шиллера до заучивания наизусть» [50, т.14, с. 176], чему раньше Алеша никак не поверил бы. И даже прокурор Ипполит Кириллович, как выясняется, знаком с Шиллером, называя своих соотечественников «любителями просвещения и Шиллера» [50, т.15, с. 128].

Таким образом, Шиллер и «шиллеровщина» для Ф. Достоевского своего рода «маркер», обозначающий в какой-то мере даже условность, стереотипность с определенным «немецким оттенком», например, «шиллеровский герой», «тот дурак философ (без сомнения, немец)» [50, т.3, с. 365].

По аналогии с Шиллером Дмитрий Карамазов выражает негативное отношение к Ракитину и считает его непорядочным, изворотливым «подлецом»: «Ракитин в щелку пролезет <...> Подлец какой-нибудь...», условно именуется его «Бернаром»: «Ух, Бернары! Много их расплодилось!» [50, т.15, с. 28]. Используя, по-видимому, имя известного французского физиолога Клода Бернара, но, не понимая о ком конкретно идет речь («это должно быть ученый один») [50, т.15, с. 28], Дмитрий приписывает ему крайне негативные качества: «Подлец какой-нибудь, всего вероятнее, да и все подлецы», «Бернар презренный!» [50, т.15, с. 29]. Адвокат, который, защищая Митю в суде, не доверяет ему «ни на сломанный грош» и «верит, что он убил...», также нарекается «Бернаром»: «Мягкая шельма, столичная. Бернар!» Когда Ракитин неучтиво выражается в суде о Грушеньке, Митя опять именуется Бернаром: «Бернар презренный и карьерист, и в бога не верует, преосвященного надул!» [50, т.15, с. 101].

Как видим, в большинстве произведений Ф. Достоевского «условные иностранцы» представлены больше как тип; явная стереотипность в изображении, а чаще декларативной идентификации поляка, жида, англичанина, француза и т.д. – также одно из проявлений типа условного иностранца.

К примеру, считая англичан народом «очень умным и весьма широкого взгляда», «наблюдателями необыкновенными и даровитыми», Ф. Достоевский все же стереотипно указывает на их неконтактность и малообщительность: «С англичанином, как вы знаете, знакомство завязать трудно...» – утверждает некто Стебельков в разговоре с Аркадием Долгоруким в романе «Подросток» [50, т.13, с. 120]. Подобную же оценку находим и в «Зимних заметках о летних впечатлениях»: их «мрачный характер не оставляет англичан и среди веселья» [50, т.5, с.72], и в «Дневнике писателя», где достаточно много говорится о «чопорности» англичан: «Да нет страны, в которой этикет имел бы большее приложение, как в Англии» [50, т.26, с. 71], им присуща именно «английская гордость <...> не просто гордость, а с заносчивым вызовом», настойчивость (ср.: «мистер Астлей почтет это себе за личную обиду (вы знаете, как англичане настойчивы)») и к тому же «эксцентричность»: «не смотрят на то, что о них скажут, и не церемонятся» [50, т.5, с. 242]). Но, по замечанию писателя в «Зимних заметках», «во всем мире нет такого красивого типа женщин, как англичанки» [50, т.5, с. 71].

В романе «Идиот» также проскальзывает образ «условного иностранца» «с замашками английских аристократов и с английскими вкусами (относительно, например, кровавого ростбифа, лошадиной упряжи, лакеев и пр.)» – «одного пожилого, важного барина, как будто даже и родственника Лизаветы Прокофьевны» [50, т.8, с. 434].

Много «интересных немецких деталей», работающих по преимуществу на создание стереотипного характера, можно встретить в «Униженных и оскорбленных»: «обидчивый и щекотливый, как и вообще все „благородные“ немцы», «и что мне за дело до всех этих скучных немцев», управляющий князя

В. «много говорил про немецкую честность», доктор «осмотрел больную со всей немецкой внимательностью» [50, т.3, с. 173]. Небезынтересно, что в романе «Преступление и наказание» сходство Петра Петровича Лужина с немцем возникает у Раскольникова вследствие восприятия отдельных элементов внешности рассматриваемого персонажа: «волосы <...> расчесанные и завитые у парикмахера, не представляли этим обстоятельством ничего смешного или какого-нибудь глупого вида, что обыкновенно всегда бывает при завитых волосах, ибо придает лицу неизбежное сходство с немцем, идущим под венец» [50, т.6, с. 114].

Немецкая нация, по наблюдению Ф. Достоевского, обладает такими устойчивыми, стереотипными чертами, как «тугое, картофельное и всегда радостно-самодовольное немецкое остроумие» [50, т.15, с. 106], «грубостью», сугубо немецким упорством, заносчивостью и гордостью «уже по своей природе», в то же время – «осторожностью и осмотрительностью», а в иных случаях, «исконной чертой немецкого характера» – «самодовольной хвастливостью всякого немца» [50, т.25, с. 126].

Что касается стереотипа французов, то по утверждению Ф. Достоевского, «самые забулдыжные, самые потерянные французы чрезмерно привержены в своем домашнем быту к некоторого рода буржуазному порядку, к <...> самому прозаическому, обыденно-обрядному образу раз навсегда заведенной жизни», ведь только у французов «хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком» [50, т.13, с. 418]. Отсюда, и все последующие характеристики автором упомянутой нации и присущих им условных черт: «официально-учтивая, французская улыбка» [50, т.5, с. 270]; «удивительно благородный вид» [50, т.5, с. 76], даже у самого «подлого французика»; склонность к «лакейству» [50, т.5, с. 82], проявления любезности и воспитанности «как бы по приказу, из расчета» [50, т.5, с. 239]; непорядочность даже в игре: «Сволочь действительно играет очень грязно. <...> Вот еще сволочь-то! это большею частью французы»; «неугасимая» «любовь к красноречию» – все это приводит автора к

следующему выводу: «одним словом, скучнейшее существо в мире» [50, т.5, с. 218].

Неуважительное, презрительное отношение к «французским» принципам, понятиям о чести выказывает и, казалось бы, вполне положительный персонаж Маврикий Николаевич в романе «Бесы», высказывающийся во время дуэли Николая Ставрогина и Артемия Павловича Гаганова следующим образом: «эта мысль, что нельзя мириться на барьере, есть предрассудок, годный для французов...» [50, т.10, с. 225].

Рассматривая стереотипность поляка у Ф. Достоевского, невозможно не обратить внимание на типичные черты, повторяющиеся практически во всех произведениях писателя – склонность к лакейству, как ее понимает писатель: «суетившийся изо всех сил полячок <...> разумеется, тоже ожидая впоследствии подачки», «тут-то и подскочил полячок» [50, т.5, с. 280], «очень юлившего поляка» [50, т.10, с. 343], «один увивавшийся полячок» [50, т.8, с. 93], «опять с предложением услуг, хоть на посылки»; навязчивость и беспринципность: «полячки, навязывающие свои услуги», «поляки в картах передернули» [50, т.5, с. 289]. Не взирая на комичность ситуаций, в которых часто показаны поляки (ср.: «маленький поляк, очевидно, показался ему фигурой комической»), «гоноровые» поляки, как точно замечено в романе «Подросток», никогда не забывают о «характерных позах», «полных гордости и собственного достоинства» [50, т.13, с. 351].

Ассоциируя какую-либо нацию с определенными профессиями, чертами характера, укладом жизни, Ф. Достоевский часто соотносит такую типичность и со своими соотечественниками. Заметов, например, может «соскандалить что-нибудь на французский манер в неприличном заведении» [50, т.6, с. 408], Версилов – младший в «Подростке» «с самого первого дня „идеи“», порешил, «что ни закладчиком, ни процентщиком тоже не будет: на это есть жида да те из русских, у кого ни ума, ни характера» [50, т.13, с. 69]. Птицын в «Идиоте» доказывает Гане, что он «ничего не делает бесчестного и что напрасно тот называет его жидом» [50, т.8, с. 387]; Разумихин в «Преступлении и наказании»,

разоблачая Лужина как негодяя, делает ударение на том, что тот «соглядатай и спекулянт; потому что он жид и фигляр, и это видно» [50, т.6, с. 156].

Критикуя пристрастие представителей «еврейского народа» к спекуляции и ростовщичеству («кончил одну не литературную, но зато очень выгодную спекуляцию и, выпроводив какого-то черномазенького жидка»), к накоплению капитала («и все копят деньги, как жида»), к материальным благам, нарратор в «Братьях Карамазовых» сравнивает Грушеньку, которая «правдами иль не правдами» успела «сколотить свой собственный капиталец», с «сущою жидовкой» [50, т.14, с. 311]. Процентщица Алена Ивановна в «Преступлении и наказании», у которой «всегда можно денег достать», тоже «богата как жид» [50, т.6, с. 53].

Любое соотношение, сравнение с евреями у Ф. Достоевского в силу распространенного среди персонажей его произведений стереотипа носит крайне негативную окраску, даже Петр Петрович ужасается возможности «ожидоветь»: «и с чего, черт возьми, я так ожидовел?» [50, т.6, с. 277]; Версиков-младший боится иметь малейшую схожесть с жидом: «я совсем не похож был на жида или перекупщика» [50, т.13, с. 38]. Но наиболее неприятное сравнение – это отождествление с «самыми скудными и самыми „жидовствующими“ умами, которым ни до чего, кроме себя, дела нет». Ф. Достоевский не допускает возможности осмысления прогрессивных идей, серьезных политических и социальных вопросов «мелким, жидовствующим, третьестепенным соображением» [50, т.25, с. 6, 9].

Приводя в данном подразделе столь многочисленные стереотипные характеристики персонажей-иностранцев в художественных произведениях Ф. Достоевского, необходимо учитывать, что эти высказывания в большинстве своем принадлежат русским персонажам и отмечены очевидной категоричностью и утрированным заострением определенных качеств представителей той или иной национальности. Это свидетельствует о том, что внимание к разным этническим характерам для Ф. Достоевского в значительной мере есть также и изучение русского характера. Поэтому

представляется несомненным, что изображение «условных иностранцев» выступает важным фоном авторского интереса к русскому национальному характеру.

### **2.3. Феномен «русского иностранца» в произведениях Ф. Достоевского.**

Понятие «русский иностранец» – одно из ключевых в идеологии и творчестве Ф. М. Достоевского. Хотя сам писатель таким словосочетанием не пользовался, его выделение вполне правомерно на следующих основаниях. Во-первых, Ф. Достоевский часто использовал весьма сходные конструкции: «русский европеец» [50, т.13, с. 101], «тип нашей русской Европы» [50, т.5, с. 61], «заграничные русские» [50, т.28, кн.2, с. 50]. Во-вторых, данное понятие легко восстанавливается из контекста такого ключевого для рассматриваемой проблемы произведения, как «Зимние заметки о летних впечатлениях», где об «образованных русских» прямо сказано: «теперь уж народ нас совсем за иностранцев считает» [50, т.5, с. 49]. В-третьих, указанный психологический тип Ф. Достоевский тщательно разрабатывает практически во всех своих произведениях зрелого периода, особенно в романах так называемого Пятикнижия. Именно в них двойственный характер «своего – чужого» интеллигента, «русского иностранца», несущего в себе проявление «нечистого <...> чужого» и одновременно «носителя высших ценностей» отражается особенно наглядно [50, т.5, с. 53].

Поднимая данную проблему, мы опираемся на работы тех авторов, которые стремятся к объективному истолкованию данного вопроса. Это такие зарубежные и отечественные философы, литературоведы, историки, правоведы как Л. В. Пумпянский, В. К. Кантор, С. Броувер, В. И. Габдуллина, Ю. Мишина, Е. В. Онищенко, Н. М. Лебедева и другие. Они посвятили свои исследования характеристике психологического типа русского иностранца, изучению актуального вопроса о взаимоотношениях русских с другими народами, проблеме «отпадения „высшего общества” от своих корней и необходимости

его возвращения в лоно почвы», уделили внимание анализу социалистических и анархических теорий русской интеллигенции [32].

В самом общем плане тип русского иностранца может быть определен таким образом – русский по происхождению и языку человек, живущий чаще всего в России, но по мироощущению чуждый русскому народу из-за своего европейского образования и, как правило, безрелигиозного миропонимания, согласно определению В. И. Габдуллиной, «беспочвенник, утративший связь с русским Домом» [32, с. 13-18]. Это явление Достоевский считал крайне болезненным в духовно-исторической судьбе России и думал о его преодолении, по сути, всю свою творческую жизнь после поворотного для него 1849 года. Все это – проявления «почвеннической» установки писателя, и в общем плане об этом, так или иначе, уже шла речь в работах Г. М. Фридендера, В. С. Нечаевой, В. А. Туниманова, а в последние годы – в работах Т. М. Миллионщиковой и А. Лазари. Но при этом сам феномен русского иностранца, его параметры и границы специально не рассматривались.

Сочетание слов «русский» и «иностранец» строится как оксюморон. Выбранный нами способ смыслового сочетания слов оправдан тональностью самого Ф. Достоевского в уже упоминавшихся «Зимних заметках о летних впечатлениях». В произведении преобладает саркастически-ироническая интонация по отношению к этому типу, используется и парадокс. Обозначив предложенный тип как «русского барина», писатель ведет речь о способах преодоления той пропасти, которая образовалась в его отношениях с народом. Один из таких бар, как он пишет, «повадилса» носить русский костюм, чтобы «слиться с народом», но добился только того, что его стали называть «ряженым»; другой, наоборот, «ничего не хочет уступать», дескать, «нарочно буду бороду брить <...> и во фраке ходить. Дело-то я буду делать, а и виду не покажу, что сходиться хочу...» [50, т.5, с. 47]. И если так выглядят попытки сближения с народом, то ясно, что отношения барина и народа – это отношения глубоко чуждых сторон. Достоевский так и характеризует их в ироническом

восклицанию: «Фу ты черт! Точно на иноплеменников каких собираются. Военный совет – да и только» [50, т.5, с. 47]. И вот каким представляется писателю результат этих отношений: теперь «мы» (баре или образованные русские вообще) «до того цивилизованы, до того европейцы, что даже народ стошнило, на нас глядя. Теперь уж народ нас совсем за иностранцев считает, ни одного слова нашего, ни одной книги нашей, ни одной мысли нашей не понимает, – а ведь это, как хотите, прогресс» [50, т.5, с. 49].

Это тональность сатирика, памфлетиста, она не столько объясняет, сколько оценивает явление, заостряя одну из его сторон – поставлен диагноз европейскому «прогрессу», причем так, что болезнь кажется безнадежной. В таком плане одностороннего осуждения представлены в публицистике Ф. Достоевского некоторые случайно встреченные им русские за границей. Речь идет, например, об упомянутом в «Зимних заметках о летних впечатлениях» русском, который уже давно проживает «в Лондоне по коммерческим делам в конторе», и при этом, «кажется, совершенно потерял понятие о тоске по родине» [50, т.5, с. 87]. Значительно позже, в «Дневнике писателя» Ф. Достоевский будет повторяться, говоря о «таком же» человеке из «наших европейцев сороковых годов», «в седых почтенных кудрях», проживающем за границей и объясняющем данное обстоятельство тем, «что у нас в России всё еще нечего делать серьезному и порядочному человеку...» [50, т.25, с. 139]. Ф. Достоевский оценивает таких людей вполне однозначно: «Что бы ни выставляли они себе в оправдание, но не могут же они утаить, что главная причина их эмиграции была тоже в приманке эгоистического „ничегонеделанья”» [50, т.25, с. 144]. Делается и обобщение о подобном типе (уже не просто русском за границей, а именно «русском иностранце»): «полуторавековым порядком вся интеллигенция наша только и делала, что отвыкала от России, и кончила тем, что разнакомилась с ней окончательно и сносилась с нею только через канцелярию...» [50, т.25, с. 50].

Раскрывая двойственный характер феномена «русских иностранцев», «постепенно порывавших с Россией» представителей высшего общества,



интеллигенции, «цивилизованных по-европейски русских», которые «гуляют за границей, по всем городам и водам Европы, набивая цены в ресторанах, таская за собой, как богачи, гувернанток и бонн при своих детях, которых водят в кружевах и в английских костюмчиках, с голыми ножками, напоказ Европе», «оторвались от почвы, чутье русское потеряли» [50, т.25, с. 138], Ф. Достоевский, по словам Н. Н. Страхова, «взял задачу во всей глубине и ширине, – захватил все виды и крайности той глупости и безнравственности, которая развивается в русских людях, когда они покидают родную „почву“, то есть отрекаются от покорности России и преданности христианскому духу» [172, с. 436].

Выделенный писателем тип «русского иностранца» – «это „беспочвенники“, утратившие связь с русским Домом», которым Ф. Достоевский «Дневнике писателя» за 1880 г. дает название – «русские бездомные скитальцы»; согласно В. И. Габдуллиной, это название «генетически связанное как с евангельской дефиницией „блудный сын“, так и с понятием „русский европеец“» [32].

Исходя из приведенной выше классификации, мы предлагаем условно выделить несколько типов «русских иностранцев», рассматривая, в первую очередь, публицистику писателя. К примеру, Ф. Достоевский, выделяя в отдельную группу россиян, «боящихся даже русских успехов и русских побед», делает ударение на том, что рассматриваемый тип россиян все же «хорошие русские», что они «не желают зла русским», а, напротив, «скорбят об всякой русской неудаче сердечно», но одновременно ужасно «боятся и удач, и побед русских» [50, т.26, с. 31].

В отдельную группу автор выносит типаж русских, которым присуща «почти трагическая черта нашего русского интеллигентного человека – это его податливость, его готовность на соглашение» [50, т.26, с. 46]. Допуская существование «даже и хороших стойких людей, но их мало ужасно», хотя «в большинстве же порядочных русских людей царит именно эта скорая уступчивость, потребность уступить, согласиться. И вовсе это даже не от

добродушия, равно как далеко не от трусости, а так, деликатность какая-то или неизвестно уж что тут. ...» [50, т.26, с. 47].

Третья группа – это, по мнению автора, представители «интеллигентных русских людей» «с некоторой стороны даже чрезвычайно привлекательные», с сильным «чувством чести», но все же они обладают теми же указанными выше «несчастливыми свойствами русского джентльменства», более того, «иные из них почти невинны, почти Шиллеры; их незнание „дел” придает им почти нечто трогательное», но при этом «долги идут непрерывно, он, конечно, платит их, потому что он джентльмен, но платит новыми долгами» [там же, с. 48].

Основными критериями в определении «русского иностранца» для Достоевского было отношение к религии: «атеист или равнодушный в деле веры русский европеец и не понимает веры иначе как в виде формалистики и ханжества» [50, т.25, с. 69]. Почти вторит этим словам Иван Шатов в «Бесах», напоминая Ставрогину высказанные им раньше идеи: «Атеист не может быть русским, атеист тотчас же перестает быть русским» [50, т.10, с. 197]. Подобные выражения находим и в романе «Идиот», где, например, генерал Епанчин, правда, ссылаясь на выражение Евгения Павловича Радомского, утверждает: «у нас не веруют еще только сословия исключительные <...> корень потерявшие» [50, т.8, с. 451].

Автор «Дневника» называет «европействующих» русских «белоручками» и отрицает возможность воссоединения такого человека «с землею, воняющею зипуном и лаптем», ибо слишком «брезглив к народу и высокомерен к земле Русской уже невольно» [50, т.27, с. 7]. Вопреки тому, что «они русские люди (а многие так и люди хорошие)», но все же, по мнению писателя, «не захотят они свой совет вместе с землей сказать, возгордятся над нею...» [там же]. Как считал Ф. Достоевский, вся «прогрессивная интеллигенция» при наличии в ее рядах «толковых людей», все равно «проходит мимо народа <...> о народе русском мало кто имеет понятия, на народ не опирается...» [там же, с.18].

Своеобразным публицистическим обобщением «русского иностранца» в представлении Ф. Достоевского, и притом не столь резким и

безапелляционным, как в большинстве случаев, является его характеристика А. И. Герцена, данная в очерке «Старые люди» из «Дневника писателя» за 1873 год. А. И. Герцен анализируется писателем как психологический и исторический тип. Чтобы показать это, нужно привести значительный по объему фрагмент его характеристики: «Герцен <...> продукт нашего барства <...> тип, явившийся только в России и который нигде, кроме России, не мог явиться. Герцен не эмигрировал <...> он так уж и родился эмигрантом <...> полтора года лет предыдущей жизни русского барства за весьма малыми исключениями истлели последние корни, расшатались последние связи его с русской почвой и с русской правдой. Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия. В этом смысле это тип исторический. Отделяясь от народа, они естественно потеряли и бога. Беспокойные из них стали атеистами; вялые и спокойные – индифферентными. К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его отрицательно, воображая вместо него какой-то идеальный народ, – каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ. <...> Герцен должен был стать социалистом, и именно как русский барич, то есть безо всякой нужды и цели, а из одного только „логического течения идей” и от сердечной пустоты на родине» [50, т.21, с. 9].

Интересно, что в «Бесах» Иван Шатов, обращаясь к Степану Трофимовичу Верховенскому и видя в его лице все поколение 1840-х «во главе с Белинским», почти повторяет эту характеристику: «Вы мало того что просмотрели народ – вы с омерзительным презрением к нему относились. <...> А у кого нет народа, у того нет и бога! <...> те, которые перестают понимать свой народ и теряют с ним свои связи, тотчас же, по мере того, теряют и веру отеческую, становятся или атеистами, или равнодушными...» [50, т.10, с. 34].

Как видим, этот тип «иностранца» хотя и отделен от народа, но по-своему «любит» его, и потому он – предмет не столько осуждения, сколько анализа и

размышления. Ф. Достоевский и дает о нем ряд таких утверждений, которые требуют дальнейшего осмысления, уточнения. Во-первых, тип этот уникален вследствие какой-то природно-культурной предрасположенности, которую трудно выявить и определить (речь идет о том, что в русских условиях эти люди «так прямо и рождались эмигрантами»). Во-вторых, его органические характеристики (они даны как указания на тип темперамента: «беспокойные», «вялые», «спокойные») соотнесены с интеллектуальной силой «логического течения идей» [50, т.10, с. 473]. Эти разноплановые черты в данном случае образуют комплекс, имеющий полюса «русский» – «общечеловек» («гражданин мира»), что создает значительную разность потенциалов, и отношения между полюсами – своего рода внутренняя форма образа русского иностранца у Ф. Достоевского. О том, насколько она продуктивна, можно судить по широте того круга людей, которых она охватывает, и по влиянию на главных персонажей романов Пятикнижия [50, т.10, с. 473].

Круг этих людей, как представляется Ф. Достоевскому, охватывает буквально всех русских интеллигентных людей. Это понятно из того, как Ф. Достоевский представлял себе «контракт» с народом в «Дневнике писателя» за 1876 год: его участниками должны быть именно «все» интеллигентные русские и народ. Заметим, что «контракт» этот столь же внутренне напряженная смысловая и этическая структура, как и обозначенный выше комплекс «русский – общечеловек». Всех образованных русских Ф. Достоевский признает, во-первых, недостаточно знающими народ, а во-вторых, определяет первостепенными идеалами народные («судить народ нужно не по тому, чем он есть, а по тому, чем желал бы стать. А идеалы его сильны и святы...») [50, т.22, с. 43]. Эти идеалы – некий общий «дом» и для народа и для образованного круга, но «дом» особый, в котором только предстоит ужиться. Это «дом», куда «мы» (обобщение, подразумевающее всех образованных русских) «должны, как блудные дети <...> воротиться», причем не с пустыми руками, а, во-первых, «все-таки русскими», и, во-вторых, приобретшими нечто свое, не противоречащее, впрочем, этим народным идеалам». Надо, чтобы

«народ и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой», но «наше пусть остается при нас, и мы не отдадим его ни за что на свете...» [50, т.22, с. 42-44].

Из этого ясно, что общий «дом», общая «почва» у народа и интеллигенции – понятия внутренне напряженные, предполагающие диалектическое развитие заключенных в них противоречий. Ф. Достоевский не избегал и не боялся этого, как не боялся и диалектики национального и общечеловеческого, рискованно утверждая, что «всякий великий народ верит и должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нем-то, и только в нем одном, и заключается спасение мира, что живет он на то, чтоб стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной» [50, т.25, с. 17-18].

Прослеживая особенности представления «русского иностранца» в публицистике Ф. Достоевского, приходим к выводу, что он описан односторонне, крайне категорично и в основном раскрывается писателем с точки зрения идеологической и морально-этической. Характеристика «русского иностранца» проводится писателем по таким критериям, как «оторванность» от «почвы», народа; отказ от христианской веры, православного мировоззрения, утрата целостности мирозидения. Описывая появление данного типа именно как социального явления, Ф. Достоевский анализирует причины и последствия, проводит условную классификацию так называемых «русских иностранцев», вышедшие из бывших «помещиков-крепостников», подразделяя их на «откровенных врагов» России – «консерваторов» и увлекшихся новыми идеями Запада «либералов» [50, т.25, с. 212].

В художественных произведениях Ф. Достоевского можно выделить несколько групп «русских иностранцев». К первой из них относятся те персонажи, которые изображены писателем явно утрированно, с определенным комическим уклоном. Отторжение всего русского ими, своеобразная внутренняя русофобия, подается в авторских или нарраторских характеристиках подчеркнуто отрицательных, однозначно нелицеприятных.

Это такие персонажи, как Алексей Владимирович Дарзан из романа «Подросток», погрязший в долгах и «играющий в игорных обществах» [50, т.13, с. 183]; Жибельский из того же произведения – «нечто вроде помощника аблакатишки», «что-то там украл», «намерен еще украсть», и, наконец – «эмигрировать» [50, т.13, с. 249]; в романе «Бесы» – Петр Верховенский – «идолопоклонник», «бестолковый идол», «злодей-соблазнитель, называемый атеист»; «дурачок» Эркель, «фанатически, младенчески преданный „общему делу”»; мошенник Липутин, «либерал и <...> атеист» [50, т.10, с. 428-431]; в «Братьях Карамазовых» – «бесчестный» Ракитин, предполагающий возможность «любить человечество и без бога» [50, т.14, с. 500]; «лакей» Смердяков, «презирающий <...> среду свою, свой народ и даже веру его», самонадеянный, беспринципный человек, «необремененный тревогами совести и бесстрастности» и к тому же наделенный «самолюбием необъятным, и притом самолюбием оскорбленным» по наблюдениям Ивана Федоровича [50, т.14, с. 503]; в «Идиоте» – шут и негодяй Фердыщенко, «такой человек, при котором надо воздерживаться и не говорить ничего <...> лишнего» [50, т.8, с. 376]. Близок к ним по принципам художественного изображения также и князь Петр Александрович Валковский из романа «Униженные и оскорбленные» – «один из блестящих представителей высшего петербургского общества», с «немалым чином, значительными связями» и состоянием, но в то же время «не из любезных, особенно с теми, в ком не нуждался и кого считал хоть немного ниже себя», считающий, что «весь мир» создан только для него, «уже давно освободивший себя <...> от всех пут и даже обязанностей. Я считаю себя обязанным только тогда, когда это мне принесёт какую-нибудь пользу...» [50, т.3, с. 180].

Некоторые из этих персонажей выступают и как своеобразные «антирусские идеологи», по-разному мотивируя и манифестируя свою антирусскость, как, например, Петр Верховенский и Смердяков. К такого рода идеологам может быть отнесен и «русский барин» Артемий Павлович Гаганов из «Бесов». Он – представитель «еще уцелевших на Руси дворян, которые

чрезвычайно дорожат древностью и чистотой своего дворянского рода», но вместе с тем «он терпеть не мог русской истории, да и вообще весь русский обычай считал отчасти свинством» [50, т.10, с. 211]. А противопоставлял он всему русскому какие-то неопределенные (но при этом европейски окрашенные) «поэтические воззрения: ему понравились замки, средневековая жизнь, вся оперная часть ее, рыцарство; он чуть не плакал уже тогда от стыда, что русского боярина времен Московского царства царь мог наказывать телесно, и краснел от сравнений» [50, т.10, с. 211].

Как видим, у Ф. Достоевского прослеживается многообразие путей реализации той внутренней формы образа «русского иностранца», о которой говорилось выше в связи с противоречивостью русского и общечеловеческого в миропонимании Герцена. Его интеллектуальные и нравственные поиски, пусть в самом общем плане, моделируют мировоззренческие искания основных героев романов Пятикнижия. Именно их анализ представляется продуктивным путем выявления объективной позиции Ф. Достоевского в отношении «русских иностранцев».

Развивая образ «иностранного русского» в художественных произведениях, Ф. Достоевский постепенно углубляет и усложняет его психологическую сторону, средствами поэтики дает возможность показать разнообразие индивидуальностей, раскрыть противоречивость природы русского человека. Психологический тип намного богаче, многограннее идеологического; объективным результатом художественного изображения является вывод о том, что все же не может быть чисто «русского иностранца», человеческая натура намного ярче, сложнее, противоречивее. В результате оказывается, что далеко не все из них полностью оторвались от «почвы», так как «натура не позволяет». Об этом, в частности, говорит и Н. Н. Страхов в своих воспоминаниях о Ф. Достоевском, отмечая, что «религиозный элемент, а также склад народной нравственности, народного патриотизма ясно выступают как противовес, как убежище и спасение от хаоса и бессмыслицы выветрившегося слоя общества» [172, с. 436]. По мнению Н. Н. Стрехова,

Достоевский «заглянул в душу этих людей и изобразил борьбу их заблуждений с добрыми началами, еще живущими в их душе...» [там же].

Помимо комически выведенных «русских иностранцев» (главным образом эпизодических персонажей) и «радикальных» идеологов антирусскости, Ф. Достоевский создает иной, более глубокий и противоречивый тип «русского иностранца», отмечая, наряду с оторванностью от родной «почвы», свойственную ему «многостороннюю одаренность», «русскую страстность», «широкость <...> особенную» [там же].

Хотя «русский иностранец» как определенный социально-психологический тип возникает уже в романе «Игрок» (анализ этого произведения в интересующем нас свете был предпринят в подразделе 2.1), разнообразные его проявления представлены в романах Пятикнижия.

Роман, открывающий его – «Преступление и наказание» – на первый взгляд, не сосредоточен на этой проблеме. Но уже в Раскольникове присутствует элемент «иностранного» влияния; не случайно Разумихин говорит о нем как о «переводе с иностранного» [50, т.6, с. 130]. Раскольников соотносится с народной правдой опосредованно – через правду христианского отношения к миру, которая дана ему через Соню. В период его «омрачения» русские мужики в художественной системе романа противопоставлены Раскольникову как «иностранцы». Это ироническое противопоставление, оно содержится в высказывании Порфирия Петровича о «современно развитом человеке», интеллигенте, который не сможет ужиться с русскими мужиками, «настоящими, посконными, русскими; этак ведь современно-то развитый человек скорее острог предпочтет, чем с такими иностранцами, как мужички наши, жить, хе-хе!» [50, т.6, с. 246]. Но слово «иностранцы» тут неслучайно, оно – часть системы «почвеннических» представлений Ф. Достоевского, и в данном случае по логике иронического контекста оно, в сущности, обращено на самого Раскольникова, который и является в период своего «омрачения» «иностранцем» для русских мужиков. Выход из этого состояния и дает ему Соня, та Соня, родство которой с «народом» безоговорочно (вспомним,



например, об органически непосредственной любви к ней всех каторжан в Сибири). Это и есть специфика его положения «русского иностранца», выросшего идеологически из круга европейских идей (наиболее важные для него связаны с наполеонизмом, с правовой, то есть, преимущественно западной для Ф. Достоевского, системой рассуждений о «праве на преступление»). Показательно, что самостоятельность Раскольникова сказывается в том, что он идейно перерастает и Наполеона, и даже правовую систему мышления [50, т.6, с. 199].

Свидригайлов, единственный, кого можно поставить рядом с Раскольниковым в идеологическом плане, тоже может быть понят в системе «почвеннических» акцентов. Он космополитичен почти по всем своим предпочтениям (в девятнадцатом веке это означало ориентацию на Европу, Францию). Однако, его самоубийство (а это в романе, несомненно – акт самоосуждения) – иронически-символический уход «в Америку», то есть содержит внутреннюю насмешку над тем, кто действительно в его положении хотел бы уехать в Америку [50, т.6, с. 373]. Образ Свидригайлова очень неоднозначен; это – скрытный, хитрый и умный «злодей». Проповедуя идею вседозволенности, имея репутацию «сладолюбивого развратника и подлеца», «чрезвычайно развратного, непременно хитрого и обманчивого, может быть, очень злого», «развращенного и погибшего в пороках человека», о темных делах которого ходило множество слухов, он все же способен и на добрые дела: «хлопотал за детей Катерины Ивановны», помог Соне с похоронами, позаботился о маленькой девочке в гостинице и т.д., то есть его поступки довольно непредсказуемы, нетривиальны для столь отталкивающего, негативного персонажа [50, т.6, с. 374]. Неоспоримо мнение В. Я. Кирпотина, заявляющего, что «злодей, развратник и циник Свидригайлов на протяжении всего романа совершает массу добрых дел, больше, чем все другие персонажи, вместе взятые...» [82, с. 223]. На основании вышесказанного можно отметить, что в образе Свидригайлова соединено несовместимое в одно органичное целое, в нем – «единство противоположных начал, борьба которых в сознании

героя сопровождается обречённо безысходным страданием» [82, с. 230]. Князь Мышкин из романа «Идиот» соотнесен с «почвенническими» представлениями иначе. Он фактически всеми устремлениями принадлежит той народной правде, которую имел в виду Достоевский-«почвенник». Но в событийно-сюжетном плане – прибывает в Россию из Европы, в которой он как раз и был идеальным русским, то есть человеком со «всемирным болением» [50, т.13, с. 376]. Рядом с ним такой персонаж, как Радомский, излагающий взгляды, весьма близкие к «почвенническим идеалам» Ф. Достоевского, идеологически пассивен, просто информирует об этих идеях, не выражая их как систему своего миропонимания или идеологическую позицию.

Ставрогин из «Бесов», быть может, самое значительное лицо в ряду «русских иностранцев». Его отпадение от народной правды особенно разрушительно. Он был инициатором «почвеннических» идей для Шатова, «соблазнил» ими его, а сам оказался внутренне не готов к их восприятию. Весь путь Ставрогина в романе – отдаление от народных начал: внутренне ложный по своим мотивам брак с Хромоножкой, способствование гибели девочки, общее нравственное положение «по ту сторону добра и зла» как раз и выстраивается в цепь, в конце которой он от безысходности оказывается «гражданином кантона Ури» (характерно, что этой формулой даже с оттенком официальности, указывающей на его принадлежность к Европе, он назван именно в момент смерти) [50, т.10, с. 513]. Вне народа (христианство которого, по Ф. Достоевскому, напоминает как бы природную способность) он оказывается еще и потому, что не способен к такому ключевому в христианстве акту как покаяние.

Сам Ф. Достоевский характеризовал образ Ставрогина как отражение «социального типа <...> русского, человека праздного <...> потерявшего связи со всем родным и, главное, веру, развратного из тоски, но в то же время совестливого и употребляющего страдальческие судорожные усилия, чтоб обновиться и вновь начать верить» [50, т.29, кн.1, с. 233]. В письме к Н. А. Любимову Ф. Достоевский отмечал серьезность данного явления,

настоятельно утверждая, что это «целый социальный тип (в моем убеждении), наш тип, русский»: «рядом с нигилистами это явление серьезное. Клянусь, что оно существует в действительности. Это человек, не верующий вере наших верующих и требующий веры полной, совершенной...» [50, т.29, кн.1, с. 232].

Шатов, называя Николая Ставрогина «праздным, шатающимся барчонком», обвиняет его в неверии: «Вы атеист, потому что вы барич, последний барич. Вы потеряли различие зла и добра, потому что перестали свой народ узнавать» [50, т.10, с. 202].

Да и сам Ставрогин признается, что «в России <...> ничем не связан – в ней мне всё так же чужое, как и везде» [50, т.10, с. 513-514]. Отказываясь разделять убеждения, идеи «тайного общества», Ставрогин утверждает, что к данному обществу «совсем не принадлежит, не принадлежал и прежде», а «если помогал случайно, то только так, как праздный человек», и аргументирует «Я не мог быть тут товарищем, ибо не разделял ничего <...> потому, что все-таки имею привычки порядочного человека и мне мерзило...» [50, т.10, с. 514]. Двойственное отношение к указанному персонажу проявляется даже при его описании еще в самом начале романа: «не очень разговорчив, изящен без изысканности, удивительно скромн и в то же время смел и самоуверен, как у нас никто» или же: «писанный красавец, а в то же время как будто и отвратителен» [там же, с. 37].

Н. А. Бердяев, анализируя образ Ставрогина, дает ему неоднозначную характеристику: с одной стороны, это – «аристократ, гордый, безмерно сильный человек», «все ждут от него чего-то необыкновенного и великого», с другой – «потухший, мертвенный, бессильный творить и жить, совершенно импотентный в чувствах <...> неспособный совершить выбор между полюсами добра и зла, света и тьмы <...> равнодушный ко всем идеям» [16]. Н. А. Бердяев считает, что в этом образе, довольно близком Ф. Достоевскому («он пленен и обольщен им»), писатель выразил «мировую трагедию истощения от безмерности, трагедию омертвения и гибели человеческой индивидуальности

от дерзновения на безмерные, бесконечные стремления, не знавшие границы, выбора и оформления» [16].

Шатов, раскаявшийся нигилист, прототипом которого, как известно, был И. И. Иванов, убитый по политическим мотивам группой Нечаева, также странствовал по Европе и Америке, где и кардинально поменял свои прошлые воззрения: «Кого ж я бросил? Врагов живой жизни; устарелых либералишек, боящихся собственной независимости; лакеев мысли, врагов личности и свободы, дряхлых проповедников мертвечины и тухлятины!» [50, т.10, с. 442].

В образе Шатова писатель подчеркивает широту русской природы, ее способность отдаваться полностью и безраздельно своей идеологии. Шатов – «одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже навеки» – будучи за границей, «радикально изменил некоторые из прежних социалистических своих убеждений и перескочил в противоположную крайность» [50, т.10, с. 27]. Он, проповедуя идею национальности, поверил в народ-богоносец: «Если великий народ не верует, что в нем одном истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал...» [50, т.10, с. 199-200]. Этот «неверующий проповедник идеи народа-богоносца» стал жертвой своего «идейного раздвоения», которое, согласно К. В. Мочульскому, приводит его к личной драме [119, с. 362]. Выражая с помощью образа Шатова свои «почвеннические» взгляды, Ф. Достоевский в то же время отмечает в нем нехватку веры не только в себя и в свои убеждения, но и в Бога. На провокационный вопрос Ставрогина о вере, Шатов, запинаясь, отвечает: «Я... я буду веровать в Бога» [50, т.10, с. 201].

Согласно записей Ф. Достоевского, сама фамилия персонажа – «Шатов» ассоциируется с «шатостью» интеллигенции в русском обществе: «равнодушие, или шатание», «шатость во всем двухсотлетняя» и т.д. [50, т.11, с. 148].

Алексей Кириллов в отличие от Шатова, заявляет о себе как об атеисте и открыто выражает идеи «человекобожия»: «Если нет Бога, то я бог... Если Бог есть, то вся воля Его, и из воли Его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие...» [50, т.10, с. 470]. Но и он, исповедуя «слишком абстрактную и потому нежизнеспособную» идею, в то же время пребывает в мучительном поиске Бога [16]. Можно сказать, что Кириллов, несмотря на свой атеизм, в чем-то даже симпатичен автору. Об этом свидетельствует отзыв Бердяева: «У Достоевского не было бесповоротно отрицательного отношения к Кириллову как к выразителю антихристового начала. Но Кириллов у Ф. Достоевского есть неизбежный момент в откровении о человеке. Он необходим для антропологического исследования Достоевского...» [16].

Двадцатисемилетний Кириллов, «великодушный», «чрезвычайный оригинал», «замечательнейший инженер-строитель», «так долго проживший за границей, чуждаясь для своих целей людей», что «забыл <...> Россию» [50, т.10, с. 78] и там же, за границей, попавший под пагубное влияние Николая Ставрогина и Петра Верховенского. Шатов, обращаясь к Ставрогину, винит его в том, что Кириллов – это его «создание»: «отравили сердце <...> утверждали в нем ложь и клевету и довели разум его до исступления» [50, т.10, с. 197]. Отрицая Бога, он в то же время зажигает лампадку перед образом Спасителя, в сущности, подтверждая свою веру: «Стало быть, тот бог есть же, по-вашему? – Его нет, но он есть» [50, т.10, с. 94]. Пройдя «стремительный путь от религиозности к атеизму» [42], «великодушный Кириллов», как пишет Ставрогин в письме к Дарье Павловне, «не вынес идеи и – застрелился» [50, т.10, с. 514].

Степан Трофимович Верховенский в романе «Бесы», прообразом которого, как известно, являлся общественный деятель Т. Н. Грановский («самый чистейший из тогдашних людей <...> один из самых честнейших наших Степанов Трофимовичей. Ведь я люблю Степана Трофимовича и глубоко уважаю его...» [50, т.23, с. 64]), показан писателем как «идеальный» западник, мировоззрение и идеи которого противопоставлены русской культурной среде,

что выделяются в тексте пресыщенностью речи данного персонажа французскими фразами. Но если в начале романа автор несколько насмешливо описывает Верховенского, согласно его характеристике в произведении, расслабленного эстета и капризного, вздорного, пустого человека, подчеркивая сниженные, комически утрированные черты характера и поведения, то в дальнейшем в этом человеке все же возрождается чувство чести и подлинного негодования «бесами» [50, т.10, с. 65, 373].

Степан Трофимович – один из первостепенных действующих лиц романа «Бесы»; по замечанию нарратора, относился к когорте выдающихся деятелей 40-х годов. В начале своей карьеры он успел «блеснуть на кафедре университета», однако, «деятельность его окончилась почти в ту же минуту, как и началась, – так сказать, от «вихря сошедшихся обстоятельств», оставив его в положении так сказать «гонимого», «ссылного», которым он к тому же очень гордился [50, т.10, с. 10]. Дважды повторяющееся закавыченное выражение «вихрь сошедшихся обстоятельств», без какого бы то ни было их прояснения, выдает явную ироническую нотку в его описании. Она еще больше усиливается, когда повествование переходит в нарративную перспективу его «подруги» бывшей генеральши Варвары Петровны Ставрогиной: «Варвара Петровна наверно и весьма часто его ненавидела; но он одного только в ней не заметил до самого конца, того, что стал наконец для нее ее сыном, ее созданием, даже, можно сказать, ее изобретением, стал плотью от плоти ее, и что она держит и содержит его вовсе не из одной только „зависти к его талантам”. <...> Она охраняла его от каждой пылинки, нянчилась с ним двадцать два года, не спала бы целых ночей от заботы, если бы дело коснулось до его репутации поэта, ученого, гражданского деятеля. Она его выдумала и в свою выдумку сама же первая и уверовала. Он был нечто вроде какой-то ее мечты...» [50, т.10, с. 16].

Еще один вариант «русского иностранца» – Версилов из романа «Подросток», характер которого показан глазами его сына Аркадия Долгорукого, пытающегося разгадать загадку отца: «гордый человек прямо

стал передо мной загадкой...», «его оригинальный ум, любопытный характер, какие-то там его интриги и приключения...» [50, т.13, с. 63].

Главный мотив Версилова, прожившего «всю жизнь в странствии и недоумениях», представлен Ф. Достоевским как мотив «русского скитальца» [50, с. 95-132]. Версилов предстает в романе «одним из деятелей русского либерализма», но позже, разуверившись, он отправляется за границу. Одаренная личность, что неоднократно подчеркивается автором, он исследует «русскую и европейскую» действительность на основании своих очень точных и «верных наблюдений, но при этом в нем полностью отсутствует идеология, в нем «все двойственно»: противоборствуют безверие, «жестокость и великодушие», отсутствие убеждений при «страстном желании иметь их» [50, с. 95-132].

Изображая Версилова «русским европейцем», Ф. Достоевский вносил в этот образ определенный оттенок трагичности, и, по мнению В. К. Кантора, причина этой трагичности в том, что он «ставит себе слишком высокие задачи, которые не может выполнить не только он, не может выполнить Россия» [74].

Версилов отстаивает свой аристократизм, но его аристократизм особый: он сохраняет память о непосредственной связи вождя и подданных. Он, называя себя «русским европейцем», является в то же время носителем особой «высшей русской мысли», которая сводится к «всепримирению идей» [50, т.13, с. 111].

Отмечает особую одаренность русского человека к совмещению противоположностей и Аркадий Долгорукий, сын Версилова: «я тысячу раз дивился на эту способность человека (и, кажется, русского человека по преимуществу) лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величайшею подлостью, и все совершенно искренно. Широкость ли это особенная в русском человеке, которая его далеко поведет, или просто подлость – вот вопрос» [50, т.13, с. 307].

Можно сказать, что Ф. Достоевский открывает в своих произведениях «темную» сторону русской души. Показывая в русском человеке положительные черты, автор еще больше подчеркивает противоречивость,

«антиномичность» русского характера. Наглядно предстает «двунаправленность» русского характера в романе «Братья Карамазовы». Так, кажущийся крайне отрицательным персонаж, Федор Павлович, человек безнравственный, наделенный «разрушительной силой зла», «злой шут и больше ничего», «жестокий, как злое насекомое», несмотря на все негативные характеристики, все же назван нарратором в начале повествования, «одним из смелейших и насмешливейших людей той, переходной ко всему лучшему, эпохи» [50, т.14, с. 8]. Правда, не стоит исключать, что в выражении этом есть и доля иронии. Кроме того, несмотря на все свои выходки, «непочтительное шутовство, которое обнаруживает» он в монастыре, Карамазов-отец, по его собственному признанию, «ощущал в себе иной раз, пьяными минутами, духовный страх и нравственное сотрясение, почти так-сказать даже физически отзывавшееся в душе его» [50, т.14, с. 86], в момент искренности он говорит Миусову: «Но зато я верую, в бога верую. Я только в последнее время усумнился, но зато теперь сижу и жду великих словес...» [50, т.14, с. 39], однажды даже обращается с просьбой к Алеше помолиться за него, и тот искренне признается отцу: «Сердце у вас лучше головы». «Не злой вы человек, а исковерканный...» [50, т.14, с. 158]. Одним из представителей просвещенного слоя загадочных, мыслящих «бунтарей» является Иван Карамазов – представитель русской интеллигенции, «с постоянным самоанализом, с его больной, измученной совестью»; он, как и Кириллов, мечется «между верой и неверием» [50, т.14, с. 214]. Иван не верит и в бессмертие души, его «атеистический аморализм», по словам С. Н. Булгакова, напоминает «демоническую мечту о человекобоге» Кириллова. Нашептывает, внушает ему эту идею «его страшный двойник-черт», рассказывая «о будущем царстве свободы и науки, когда человек, окончательно упразднив веру в Бога, станет человекобогом» [22, с. 24-25].

Будучи человеком высокообразованным, интеллектуальным, Иван Карамазов хорошо осведомлен в философии, истории, высказывает в романе свойственные самому Ф. Достоевскому мысли: «церковь должна заключать



сама в себе все государство» [45, т.14, с. 56-57]. С. Н. Булгаков именует Ивана Карамазова «скептическим сыном эпохи социализма» [22, т.2, с. 42]. Утратив веру в «былые идеалы», в прошлое и, не найдя ему замены, Иван, терзаясь сомненьями атеизма, приходя в отчаяние от своего безверия, «жадно ищет веры». По свидетельству Алеши, «душа его бурная. Ум его в плену. В нем мысль великая и неразрешенная. Он из тех, кому не надобно миллиона, а надобно мысль разрешить...» [50, т.14, с. 76].

Иван Карамазов в «почвенническом» аспекте – тот, кто противостоит лакею Смердякову, ненавидящему всю Россию и в то же время пугается своего сходства с ним. Поэтому духовная история Ивана – это во многом история преодоления своего внутреннего сходства со Смердяковым.

Но все же одним из ярко выраженных «иностранцев» предстает «лакей» Смердяков, «свихнутый на идее „иностранного“», полный брезгливости и «презрительной ненависти» ко всем вокруг, хотя «в силу своего низкого социального положения» не имеющий возможности «развернуться во всю ширь своих безумных идей и затей», человек «безо всякой благодарности» и веры: «у Смердякова совсем не русская вера», проклинавшего Россию и смеющегося над нею: «Я всю Россию ненавижу...» [50, т.14, с. 205]. Л. В. Пумпянский в своих исследованиях именуется Смердякова: «лакей всея России, обезьяна своих плохих господ...» [149]. Интересно, что имя Смердякова – Павел Федорович – является палиндромным вариантом имени его отца Федора Павловича Карамазова. Поэтому закономерно, что Смердяков наследует от Карамазова-отца его цинизм, аморальное отношение к людям, извращенную трактовку людей и мотивов их действий. Подобно Федору Павловичу, он ненавидит Россию и все русское, сожалея, в частности, о том, что «умная нация» (т.е. французы) не завоевала «глупую» (т.е. русских) [50, т.14, с. 205]. Характеризуя Смердякова и подобных ему, Ф. Достоевский в «Дневнике писателя» (апрель 1876 года) отмечал: «...малообразованные, но уже успевшие окультуриться люди <...> всего только в каких-нибудь привычках своих, в новых предрассудках, в новом костюме, – вот эти-то всегда и начинают именно с того,

что презирают прежнюю среду свою, свой народ и даже веру его, иногда даже до ненависти» [50, т.14, с. 115]. Отождествляя просвещение с «хорошим платьем, чистыми манишками и вычищенными сапогами», «любитель духов и блестящей обуви», он свое жалование растрчивает «чуть не в целости на платье, на помаду, на духи и проч.» [50, т.14, с. 115-116].

Среди других героев Ф. Достоевского очень близок в идейном замысле к образам Ивана Карамазова и Николая Ставрогина образ Ипполита Терентьева из романа «Идиот». «Вчерашний гимназист, обреченный на смерть», он, бросающий дерзкий вызов миру-Богу: «Я умру прямо, смотря на источник силы и жизни, и не захочу этой жизни! Не желая подчиниться «обстоятельствам жизни» [50, т.8, с. 344], решается на самоубийство, а уже сама идея самоубийства, по мнению Ф. Достоевского, – «логическое следствие атеизма – отрицания <...> болезни души», неверие в ее бессмертие [122].

От группы «не то, чтобы нигилистов», так как сами «нигилисты все-таки народ иногда сведущий, даже ученый, а эти – дальше пошли-с, потому что, прежде всего деловые-с» [50, т.8, с. 23], в которую входят: «боксер» Келлер, о котором нарратор иронически сообщает: «в некоторых случаях либерал», Докторенко, Антип Бурдовский и др., он кардинально отличается тем, что в его сознании уже вполне сформировалась определенная философская концепция: «слово идеологическое <...> обращенное к мирозданию, обращено с протестом», отношение нарратора и автора к которой весьма неоднозначное: с одной стороны, он ее явно не принимает, поскольку потеря веры, ведущая к отрицанию смысла существования, для него несомненный грех с другой же, в силу искренности позиции Ипполита, ее нельзя не уважать. По всей видимости, для Ипполита все же остается надежда на возвращение в «мир истины», раз его попытка самоубийства так и не осуществляется [11, с. 143].

Еще один представитель «русских иностранцев» в романе «Идиот» – Гаврила Ардалионович Иволгин, молодой человек с «завистливыми и порывистыми желаниями», «с раздраженными нервами», «самолюбивый и тщеславный до мнительности, до ипохондрии» [50, т.8, с. 90]. Он принадлежал,

согласно классификации Ф. Достоевского («одни ограниченные, другие гораздо поумней»), именно ко второму разряду людей (гораздо несчастнее первого), «весь, с ног до головы, был заражен желанием оригинальности»: «Богатство есть, но не Ротшильдово: фамилия честная, но ничем никогда себя не ознаменовавшая; наружность приличная, но очень мало выражающая: образование порядочное, но не знаешь, на что его употребить: ум есть, но без своих идей; сердце есть, но без великодушия, и т.д. во всех отношениях» [50, т.8, с. 384].

Говоря об особенностях изображения русских иностранцев в художественных произведениях писателя, следует обязательно учитывать трагикомическое и собственно комическое в его творчестве. В начале и в середине XX века в данном направлении достоевковедение сделало колоссальный шаг. Особенную роль здесь сыграли работы М. М. Бахтина, исследовавшего карнавально-смеховую составляющую поэтики писателя [11], и Ю. Н. Тынянова, акцентировавшего внимание на «комизме писателя» и его «мастерстве в создании трагикомического»: «...писатель переносил и трагические черты действительной жизни в произведения, иногда резко меняя их эмоциональную окраску на комическую» [цит. по: 120]. Придя к выводу, что смеховые, пародийные фигуры в творчестве Ф. Достоевского живут наравне с «серьезными» образами, а, также основываясь на приведенных выше умозаключениях, мы считаем правомерным включить в нашу классификацию и «предельно комичных» персонажей, «продолжающих галерею шутов в творчестве Достоевского», таких как господин Келлер – «боксер», «поручик в отставке», «в некоторых случаях либерал, то есть насчет кармана-с», «потерявший всякий признак нравственности» («единственно от безверия во всевышнего») [50, т.8, с. 256]; «холуйствующий» шут «гнусный» Лебедев, «над которым все смеялись» – «нечто вроде заскорузлого в подьячестве чиновника, лет сорока, с красным носом и угреватым лицом, с подобострастной улыбкой», «низкий и душой и духом», «с лихорадочным нетерпением и каким-то ползучим голосом» [50, т.8, с. 312]; генерал Иволгин – «беззлобный шут»,

господин «с багрово-красным, мясистым и обрюзглым лицом», с «большими, довольно выпученными глазами», «вблизи от него немного пахло водкой» [50, т.8, с. 80]. Но, не взирая на присутствие в его внешности признаков чего-то определенно «опустившегося, износившегося, даже запачканного», он стремится выставить себя незаурядной личностью, пытается «поразить достоинством», прибегая при этом к фантазиям и небылицам, что и вызывает возникновение «комического эффекта» [120, с. 20].

Между действительно комических персонажей необходимо выделить чиновника Фердыщенко – «очень неприличный и сальный шут, с претензией на весёлость и выпивающий», постоянно суется и хохочущий, «иногда неизвестно чему, да и то потому только, что сам навязал на себя роль шута» – «как будто по обязанности взял на себя задачу изумлять всех оригинальностью и веселостью, но у него как-то никогда не выходило. На некоторых он производил даже неприятное впечатление» [50, т.8, с. 73]. Ф. Достоевский так описывает эту «страшно взъерошенную, раскрасневшуюся, подмигивающую и смеющуюся» персону: «господин лет тридцати <...> с огромною, курчавою, рыжеватою головой. Лицо у него было мясистое и румяное, губы толстые, нос широкий и сплюснутый, глаза маленькие, заплывшие и насмешливые, как будто непрерывно подмигивающие. В целом всё это представлялось довольно нахально. Одет он был грязновато», «промахи» дурного тона и «хвастовство особого рода» были «совершенно в его характере» [50, т.8, с. 79].

С. А. Мухина в работе «Феномен комического в творчестве Ф. М. Достоевского» утверждает, что главным инструментом, «с помощью которого Ф. Достоевский видел возможность высмеять беснования никчемных людишек, оторвавшихся от своих корней, стала сатира» [120, с. 21]. В романе «Бесы» ею выделены образы, обладающие ярко выраженными сатирическими чертами. Это комические фигуры «мерзавца» Липутина, «губернского чиновника <...> большого либерала», слывшего атеистом, «фурьериста при большой наклонности к полицейским делам», «явного сплетника», которого «в городе <...> мало уважали, а в высшем круге не принимали» [50, т.10, с. 26,

423]; акушерки Виргинской, «неистойой атеистки и революционерки», и ее «обманутого мужа» Виргинского [50, т.10, с. 28]; «маленького почтамтского чиновника» Лямшина, «мастера игры на фортепиано», а «в антрактах представлять свинью, грозу <...> и пр.» – «для того только и приглашался» [50, т.10, с. 30]. К этой когорте можно причислить и мелкого шута, «глупого и совершенно пустого» пьяницу Лебядкина, «долгое время состоявшего в качестве шута» у Николая Всеволодовича Ставрогина, будучи «лицом весьма подозрительным и вовсе даже не был отставным штабс-капитаном», способным лишь «крутить усы, пить и болтать самый неловкий вздор, какой только можно вообразить себе» [50, т.10, с. 24].

Видимо, подразумевая перечисленных выше и подобных им персонажей, нарратор-хроникер в «Бесах» повествует о том, что в «смутное время колебания или перехода всегда и везде появляются разные людишки», «эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но, даже не имея и признака мысли...» – эти «дрянные людишки», начинающие «громко критиковать всё священное, тогда как прежде и рта не смели раскрыть...» [50, т.10, с. 354]. Таким образом, Ф. Достоевский отметил наиболее важное и «болезненное явление» русского интеллигентного общества и дал, по словам Н. Н. Страхова, «разнообразный и глубокий анализ нашего нравственного и умственного шатания», охватил «все виды и крайности той глупости и безнравственности, которая развивается в русских людях, когда они <...> отрекаются от покорности России, преданности христианскому духу. Он заглянул в душу этих людей и изобразил борьбу их заблуждений с добрыми началами, еще живущими в их душе» [172, с. 436]. Наряду с этим писатель возлагает надежду на воскресение и обновление русского общества при условии его присоединения к «правде народной»: «вся беда от давнего разъединения высшего интеллигентного сословия с низшим, с народом нашим. Как же помирить верхний пояс с море-океаном и как успокоить море-океан, чтобы не случилось в нем большого волнения?» [50, т.27, с. 20].

Ф. Достоевский часто упоминает об ожидаемом появлении некоего «нового человека», о нем говорит Шатов: «Идет новое поколение, прямо из сердца народного, и не узнаете его вовсе ни вы, ни Верховенские, сын и отец, ни я...» [50, т. 10. с. 202-203]. Еще раньше, практически в самом начале романа мысль о «новом человеке» высказывает Кириллов, правда, связывая его появление с «уничтожением бога»: «Теперь человек еще не тот человек. Будет новый человек <...> счастливый и гордый. <...> Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения бога и от уничтожения бога <...> до перемены земли и человека физически» [50, т.10, с. 24]. Показательно, что и в публицистике писателя находим похожие строки, выражающие надежду на обновление России: «грядет новый, еще неслыханный слой русской интеллигенции, уже понимающей народ и почву свою. <...> На этих-то новых людей и вся надежда наша...», на «это множество, чрезвычайное современное множество этих новых людей, этого нового корня русских людей, которым нужна правда <...> и которые, чтоб достигнуть этой правды, отдадут всё решительно» и именно к этим новым людям, «которые, несомненно, явятся после войны, примкнет много живых сил из народа и русской молодежи» [50, т. 25, с. 26, 57].

Изображение «русских иностранцев» осуществляется Ф. Достоевским согласно его принципам «почвеннического» мировоззрения, основу которого составляют такие социально-нравственные критерии его оценки человека, как степень его привязанности или оторванности от народа, отношение к вере и Богу. При этом писатель, по словам Н. А. Бердяева, раскрывает «противоречие, полярность и антиномичность» человека, показывает ищущего скитальца «в безысходном трагизме, в противоречиях, идущих до самой глубины» [16].

## **Выводы к разделу 2.**

Спектр воплощения образов иностранцев в произведениях Ф. Достоевского чрезвычайно богат. В поле его зрения представители самых разных национальностей, но чаще всего его внимание привлекают немцы, французы,

поляки, евреи, англичане. Первой общей особенностью изображения инонациональной среды является стереотипность, высокая степень типизированности отдельных персонажей с выделением самых общих свойств, качеств и черт определенного национального характера. Вторая особенность связана с позицией Ф. Достоевского в отношении иностранцев. Абсолютное большинство высказываний нарраторов и персонажей его произведений об иностранцах имеет негативный смысл и отличается крайней категоричностью и предвзятостью. Вместе с тем на протяжении творческого пути писателя характер изображения иностранцев претерпевает определенные изменения: если в произведениях 1860-х годов они зачастую изображаются в основном сатирически, то в 1870-е годы, главным образом, в «Дневнике писателя» Ф. Достоевский положительно отзывается об иностранцах. В целом двойственность представленных иностранных типов у писателя отражает сложность оппозиции «инонационального» и «русского» миров в европейской культуре и культурологическую продуктивность этой оппозиции.

Анализируя образы персонажей Ф. Достоевского, воплощающих тип «русского иностранца», в «почвенническом» преломлении, приходим к выводу, что в этом понятии есть некое ядро – мыслящий, становящийся человек (личность), а на его периферии – сниженные и пародийные воплощения (Смердяков из «Братьев Карамазовых», Артемий Павлович из «Бесов»). Диалектически противостоят основной фигуре представители народа (Макар Долгорукий) и персонажи, почти непосредственно сливающиеся с ним (Соня Мармеладова), данные во внерациональном ключе. Как мыслящее и противоречивое существо «русский иностранец» всегда находится в сложном мировоззренческом и жизненно-практическом положении. При этом наблюдается тенденция к развитию этого типа в романах Ф. Достоевского в сторону народного миропонимания.

**РАЗДЕЛ 3.**  
**ИДЕАЛ «ВСЕЧЕЛОВЕКА» И «ВСЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО**  
**ОРГАНИЗМА» В КОНТЕКСТЕ «ПОЧВЕННИЧЕСКИХ» ИДЕЙ**  
**Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО**

**3.1. Россия и Запад в представлении Ф. М. Достоевского: теоретические и практические возможности синтеза двух систем мировосприятия**

Интерес к Западу появился у Ф. М. Достоевского еще в 1840-е годы, а в 1860-е годы проблема «Россия – Запад» стала для него особенно острой и значительной. Это закономерно, так как к этому времени в жизни писателя произошли события, определившие большей частью его дальнейшую творческую судьбу: каторга, столкнувшая его с неизвестным прежде миром, с социально несправедливыми слоями общества, а потом путешествие в Европу, которая еще с ранней юности оставалась мечтой Достоевского. Взаимосвязь России и Европы, европейская культура на фоне русской действительности – это и есть собственно та проблема, с целью осмысления которой, основываясь на собственных наблюдениях и ощущениях, Ф. Достоевский приехал в Европу.

Результатом его поездки стали «Зимние заметки о летних впечатлениях», где дорожные впечатления переплетаются с обобщающими «публицистическими очерками разных сторон жизни европейских стран», особенно Франции и Англии [104, с. 16], уклад быта которых, а также особенности мировосприятия европейского человека пробуждали у писателя размышления социального, религиозного и культурного направлений. Экскурсы в социальную историю и историю русской литературы помогают Ф. Достоевскому определить волнующие его проблемы: влияние Европы на Россию, эволюцию российского интеллигента и взаимоотношение интеллигенции с народом. Именно в этот период под влиянием как перемен в общественной жизни, так и впечатлений от заграничной поездки, эта проблема



ставится писателем особенно широко, и хотя в дальнейшем она несколько сузится, главным останется вопрос о месте России в истории народов, а также проблема свободы личности. Достоевского-писателя, которого всегда волновала проблема ценности человеческой личности, потрясает то, что на Западе «...миллионы людей, оставленные и прогнанные с пиру людского <...> брошены своими <...> братьями <...> ищут выхода, чтобы не задохнуться в темном подвале» [50, т.24, с. 95]. Его взгляды разделяет и Н. Г. Чернышевский, отмечая, что простой народ в Западной Европе «погрязает в невежестве и нищете», так как он абсолютно «не принимает посильного участия ни в успехах, делаемых жизнью достаточного класса людей, ни в умственных его интересах». В то же время «зажиточный и развитой класс населения <...> предается <...> корыстным стремлениям, по невозможности осуществить свой идеал, или бросается в излишество, чтобы заглушить тоску...» [188].

Уделяя в «Зимних заметках» много внимания проблеме национальности, Ф. Достоевский опирается на традиционно-стереотипное представление; например, пишет, что «берлинцы, все до единого, смотрели такими немцами...» [50, т.5, с. 47]; в англичанах отмечает четкое следование установленному порядку, его поражает «усиленная серьезность, даже мрачность характера», которая «не оставляет англичан и среди веселья» [50, т.5, с. 72]. Лондон же в изображении автора предстает как «исполинский город», проявление капитализма – страшной силы, подавляющей бесчисленных людей [там же]. Слово «француз», по Ф. Достоевскому, содержит в себе в первую очередь понятие «буржуа», то есть «француз» – понятие социальное, несущее негативную оценку и имеющее национальное обозначение. Здесь необходимо отметить, что определение западных национальностей в 1860-е годы в целом становится синонимом буржуазности, и, прежде всего, это относится к французам, так как Франция воспринималась современниками Ф. Достоевского как классический пример буржуазной страны. Причем, в «Заметках» в социальном понятии «буржуа» Ф. Достоевским на первое место ставится моральное содержание, т.е. «искажение нравственного чувства», мелочные

интересы, лакейство. Очевидно, ирония писателя вызвана неприятием «западного образа жизни, духа собственности», который присущ всем европейским нациям, у которых есть что-то общее, отличающее их от русских, живущих совсем иной жизнью [50, т.5, с. 57-59].

Ф. Достоевский подчеркивал, что «страсть к стяжательству охватила все слои европейского общества», доказывал, что «западная личность» (и рабочий, и буржуа в равной степени) утратила тягу к единению, «в то время как в русском народе живет инстинктивное стремление к братству, общине, согласию» [50, т.4, с. 64]. По его наблюдениям, «в западном человеке нет братского начала, а, напротив, начало единичное, личное, беспрерывно обособляющееся, требующее с мечом в руке своих прав» [50, т.25, с. 108]. По мнению автора, такой индивид не может служить базисом нормального человеческого общежития. Западные варианты единения, увиденные Ф. Достоевским, – это «масса» в Лондоне, толпа на Гай-Маркет, «подземные мормоны» [50, т.5, с. 71]. По Ф. Достоевскому, для будущего братства необходима высокоразвитая личность, развитие ее же должно отличаться от европейского: «Надо стать личностью <...> собственником воли, – и установить высшую ступень и некий предел развития личности: способность – к самопожертвованию» [50, т.25, с. 107]. Писатель пишет в «Заметках» об этой новой личности, о братстве и неподдельно верит в возможность воплощения своего идеала. В проблеме развития личности сконцентрировано очень многое: судьба человечества, будущее отдельной личности, ее место в обществе, вопрос о вере и неверии, о нравственном идеале, то есть самые главные вопросы бытия. Тот же путь развития одновременно для себя и для общества Ф. Достоевский считал применимым и к национальностям: «Каждая нация, живя для себя, в то же время, уже тем одним, что для себя живет, – для других живет» [50, т.25, с. 109]. То есть законы развития в человеческом обществе представляются писателю одинаковыми для отдельного индивидуума и для такой совокупности их, как нация.

В Европе Ф. Достоевский увидел безраздельное господство буржуазного порядка, неизбежно влекущее к падению человеческой личности. И не случайно, после этих описаний литератор обращает внимание на состояние религии, указывая на лицемерие священников: «Католический священник <...> вотрется в бедное семейство какого-нибудь работника <...> и под конец обращает всех в католичество <...> Англиканский же священник не пойдет к бедному. <...> Это религия богатых и уже без маски...» [50, т.24, с. 98].

К католичеству Ф. Достоевский всегда относился крайне критически, нередко враждебно, отождествляя его с идеей «насильственного единения человечества, идеей новой всемирной монархии во главе с папой» [50, т.25, с. 71]. Писатель был уверен, что именно католицизм более всего приводил к умалению и вульгаризации идей христианства. Согласно историческим данным, римские императоры наделили епископов безграничной властью над городами и такое слияние мирской и духовной власти в колоссальной степени обусловило безраздельное могущество католической церкви в западной культуре. В «Идиоте» Ф. Достоевский передает свое представление о католичестве главному герою романа князю Мышкину: «Католичество римское – даже хуже самого атеизма <...> Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше: он искаженного Христа проповедует, им же оболганного и обруганного, Христа противоположного! Он антихриста проповедует...» [50, т.8, с. 450-451].

В «Дневнике писателя» за 1880-й год Ф. Достоевский отмечает, что «римское католичество, давно уже продавшее Христа за земные владения» является основным фактором «матерьялизма и атеизма Европы», что именно оно «породило в Европе и социализм», который «имеет задачей разрешение судеб человечества уже не по Христу, а вне бога и вне Христа <...> по мере извращения и утраты его в самой церкви католической...» [50, т.26, с. 85]. Саму концепцию католичества Ф. Достоевский расценивал как изначально противоречащую канонам подлинного христианства. И первопричину бездуховности Европы усматривает в профанации «основ христианства в

католичестве», обвиняя не только «религию католическую одну», но и «всю идею католическую» [50, т.25, с. 6].

Протестантство также подвергается критике со стороны писателя, особенно в Германии, где, согласно Ф. Достоевскому, лишь «вера <...> протестующая и лишь отрицательная, и чуть исчезнет с земли католичество, исчезнет за ним вслед и протестантство, наверно, потому что не против чего будет протестовать, обратится в прямой атеизм и тем кончится...» [50, т.25, с. 8]. Правда, писатель тут же оговаривается: «Но это, положим, пока еще моя химера...» [там же].

Ф. Достоевский противопоставлял католичеству истинную веру, которую, на его взгляд, сохранил русский народ: «Надо чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они не знали!» [50, т.24, с. 98]. Ведь «Россия, еще с древних времен, хотя и медленно, слагалась политически и, благодаря православию, она сумела выработать себе единство и закрепить свои окраины» [50, т.24, с. 98]. Писатель считал христианскую веру «единственной хранительницей драгоценной Христовой истины, настоящего Христова образа, затемнившегося во всех вероисповеданиях других народов» [50, т.24, с. 99], а «путь, пройденный православием среди русских и родственных им народом, оказался путем адаптации религии к народному нраву, превращению русского православия в нравственное единство с народом» [108]. Согласно мнению славянофилов и «почвенников», Россия заняла исключительное место в мировой цивилизации именно благодаря феноменальности русской религиозности. В переписке с А. Н. Майковым Ф. Достоевский подтверждает свою мысль: «Все понятия нравственные и цели русских – выше европейского мира. У нас больше непосредственной и благородной веры в добро как в христианство, а не как в буржуазное решение задач о комфорте. Всему миру готовится обновление через русскую мысль, которая тесно связана с православием. <...> Все назначение России заключается в Православии. <...> Все несчастье Европы <...> произошло оттого, что с римскою церковью потеряли Христа, а потому решили, что и без

Христа обойдутся» [50, т.26, с. 401]. Для Ф. Достоевского, как для всякого религиозного человека, основой его миропонимания есть вера в Бога и сам Бог, а идеалом духовного формирования личности становится «уподобление Христу», и, как отмечает в своей работе «Ф. М. Достоевский и христианство», А. И. Осипов, отказ человечества от своей веры, от Христа неминуемо приведет к тому, что «падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность...» [цит. по: 137]. Подтверждение этому известное эпохальное суждение черта в романе «Братья Карамазовы»: «...надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело!» [50, т.15, с. 83].

Будучи приверженцем теории «почвенничества», Ф. Достоевский считал фундаментом будущего прогресса России национальную «почву», полагая, что миссия простого народа (в содружестве с интеллигенцией) как выразителя «высшей духовной истины» заключается в спасении человечества благодаря Православию [50, т.24, с. 334].

В «Бесах» Иван Шатов почти повторяет многое из того, что Ф. Достоевский провозглашал в своих публицистических произведениях: «народ – это тело божие», а русский народ – «единый народ «богоносец»: «теперь по всей земле единственный народ-богоносец, грядущий обновить и спасти мир именем нового Бога и кому одному даны ключи жизни и нового слова» [50, т.10, с. 198-199]. Кроме того, по его словам, еще «ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума» и целью «всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание бога, бога своего, непременно собственного, и вера в него как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. <...> Чем сильнее народ, тем особливее его бог. Никогда еще не было народа без религии, то есть без понятия о зле и добре...» [50, т.10, с. 198-199].

В романе «Идиот» князь Мышкин высказывает одно из воззрений самого писателя, заключающееся в том, что только «в русском народе заложена некая

необъяснимая сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления и ни под какие атеизмы не подходит; тут что-то не то, и вечно будет не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и вечно будут *не про то* говорить. Но главное то, что всего яснее и скорее на русском сердце это заметишь...» (курсив автора. – И.М.) [50, т.8, с. 184].

Размышляя о выборе будущего пути развития России, о миссии русского народа как «носителя высшей духовной истины», о том, что он – «богоизбранный» и ему предназначено, «спасти все человечество» благодаря православию, Ф. Достоевский в статье «Примирительная мечта вне науки» пишет: «Всякий великий народ верит и должен верить <...> что в нем-то, и только в нем одном, и заключается спасение мира, что живет он на то, чтоб стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной. <....> Я утверждаю, что так было со всеми великими нациями мира, древнейшими и новейшими, что только эта лишь вера и возвышала их до возможности <...> иметь, в свои сроки, огромное мировое влияние на судьбы человечества» [50, т.25, с. 17].

Надежда на величайшую будущность русского народа высказана также в речи князя Мышкина, так поразившей «всех присутствовавших в гостиной»: «...откройте русскому человеку русский Свет. <...> Покажите ему в будущем обновление всего человечества и воскресение его, может быть, одною только русскою мыслью, русским богом и Христом, и увидите, какой исполин могучий и правдивый, мудрый и кроткий вырастет пред изумленным миром...» [50, т.8, с. 453].

Необходимо также отметить, что одним из важнейших аспектов «православного дела» Ф. Достоевский считал возможность преодоления отрыва русской интеллигенции от простого народа, возможность объединения их едиными целями. Обоснованием этому послужило то, что многие представители «высшей интеллигенции русского общества...» во время войны

на Балканах присоединились к народной идее, к «православному делу» [50, т.23, с. 102]. Ф. Достоевский выступает за сплочение всех славянских народов во главе с Россией и настаивает не столько на политическом, сколько на объединении религиозном, отмечая, что «империя после турок должна быть не всеславянская, не греческая, не русская <...> должна быть православная» [50, т.24, с. 208]. Цель писателя – спасение не только одних славян, а всего мира, так как для него восточный вопрос – это, прежде всего, вопрос судьбы России, Европы и всего мира, неотделимый от православия, на которое возложены огромные надежды, ведь «утраченный образ Христа», который для Ф. Достоевского «абсолютное <...> личностное Благо и совершенная Красота», сохранился в своем изначальном значении, «неповрежденно» в народах славянских, особенно в русском народе, «сохранился лишь в Православии, которое, может, вновь спасет европейское человечество» [50, т.26, с. 85]: «надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они и не знали!» [50, т.8, с. 451-452].

Это особое проявление «стихийно-бессознательной» любви русского народа «к Богу <...> к Богородице во всех проявлениях», В. В. Борисова соотносит с тем фактом, что Достоевский неспроста изобразил в келье старца Зосимы «множество разных изображений Богородицы: и на большой православной иконе, писанной до раскола, и на католическом кресте, и на заграничных гравюрах, и на «копеечных» простонародных русских литографиях» [19, с. 37].

Но это же время Ф. Достоевский любил Запад, так как многое перенял у западных мыслителей и исследователей, «чувствовал на Западе вторую родину русского духа» [166, с. 388]. В творчестве писателя прослеживается противоречивое утверждение вражды к Европе и одновременное влечение к ней, «преклонение перед богатейшим европейским культурным достоянием и вместе с тем отрицание духа современной ему буржуазной Европы» [27, с. 390]. К тому же, на протяжении всей истории Россия и Европа находились в непрерывном взаимодействии, следовательно, «невозможно разрешение

православного вопроса без разрешения вопроса о Европе» [166, с. 390]. А для Ф. Достоевского в этом заключался еще и христианский долг. В записных тетрадях за 1880-1881 год он записывает как ответ на обращенное к нему письмо К. Д. Кавелина: «Вы скажете, что на Западе померк образ Спасителя. Нет, я этой глупости не скажу», то есть и западный мир оставался для писателя христианским миром, для которого характерны все те же проблемы человеческого духа, открытые Христом, и который так же стремится к «вселенскому единению» [50, т.27, с. 56].

Согласно идее писателя, определяющей и закономерной задачей нравственного становления человека как личности есть уподобление Христу: «Христос был вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек» [50, т.20, с. 172]. В. С. Соловьев, полагая Ф. Достоевского одним из основоположников русской религиозно-философской мысли, которая преследовала цель «религиозного оправдания истории, выдвигая идею богочеловечества», считает, что Достоевский под идеей о всемирном братстве подразумевал общество, построенное на религиозно-нравственных началах [166, с. 45-46].

Ф. Достоевский постоянно подчеркивает, что русская идея самым своим возникновением обязана православию. Он отмечает, что идея эта родилась именно в русском народе не потому, что он русский, а потому, что он православный: «и веры этой вы нигде в мире более не найдете, ни у какого <...> народа в Европе», напротив, «у нас, у нас всех, русских, – эта вера есть вера всеобщая, живая, главнейшая; все у нас этому верят и сознательно и просто, и в интеллигентном мире и живым чутьем в простом народе...» [50, т.25, с. 19-20].

Ю. Г. Кудрявцев усматривает в русской идее Ф. Достоевского предназначение России, заключающееся, во-первых, в противостоянии гибельному европейскому пути, и спасении Европы от самой себя, во-вторых, в обновлении мира новой идеей: «Главное в русском пути – признание человека,



его духовности в качестве самоцели. <...> Русская идея – это православие...» [95, с. 15].

По мнению Ф. Достоевского, благодаря «способности к всеобъединению» русский человек остался единственным европейцем в Европе», в то время как представители других национальностей продолжают оставаться в «своих пределах» [135, с. 15]. Своеобразным подтверждением этому служат слова Версилова из романа «Подросток»: «всякий француз может служить не только своей Франции, но даже и человечеству, единственно под тем лишь условием, что останется наиболее французом; равно – англичанин и немец. Один лишь русский <...> получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех, и у нас на этот счет – как нигде...» [50, т.13, с. 377].

Ф. Достоевский постоянно подчеркивал уникальность русского национального характера, высказывая мнение об исключительной потребности русского народа во «всемирном общечеловеческом единении» [50, т.25, с. 20], но все же, в равной степени, суждение писателя как относительно иностранцев, так и русских очень неоднозначно. Рассматривая противоречивый русский характер, Ф. Достоевский выделяет как положительные, проистекающие из основных принципов русского Православия, черты: «духовность, тяга к справедливости», так и негативные: «лень, бездеятельность, безответственность» [106, с. 143].

Рассматривая исключительную антиномичность русского национального характера, Ф. Достоевский подчеркивает, что данная «способность в русском человеке и русской нации» уникальна. Внимательный читатель Ф. Достоевского Н. А. Бердяев также соглашается с ним по этому поводу: «Русский человек более противоречив и антиномичен, чем западный, в нем соединяется душа Азии и душа Европы, Восток и Запад. Это раскрывает великие возможности для русского человека. <...> в России заложены большие человеческие богатства <...> чем в размеренной и ограниченной Европе» и

констатирует, что русскую идею Ф. Достоевский усматривал именно «во „всечеловечности” русского человека, в его бесконечной шире и бесконечных возможностях...» [16].

Придерживается сходного мнения и философ, историк начала XX века Л. П. Карсавин, отмечая, что «существенным моментом русского духа является религиозность», но при этом у русского православия все же есть «серьезный недостаток – его пассивность, бездейственность» [79, с. 5]. Н. О. Лосский также указывает на «оборотную сторону высоких свойств русского человека», а именно, на его тягу «к полному совершенству и чуткости к недостаткам <...> действительности», что, как правило, сопровождается такими негативными характеристиками как «небрежность, неточность, неряшливость», нежелание довести начатое дело до его «осуществления» [112].

Подобные характеристики двойственности русского человека можно встретить у самых разных авторов – от Ф. И. Тютчева и П. Я. Чаадаева до В. П. Астафьева и А. И. Солженицына, которые подчеркивают присущие русскому человеку сострадательность, способность к самоотвержению и самопожертвованию, склонность к радикальным действиям и готовность к самоосуждению и раскаянию, решительность в экстремальных ситуациях и впадение в апатию и равнодушие в повседневной жизни.

Но, все же, описывая и сравнивая русских и иностранцев, Ф. Достоевский отдает предпочтение соотечественникам, формируя в своих произведениях представление о некоей особой «русскости», раскрывая образ «всечеловечного» русского человека, который в то же самое время «и русский, и европеец» [119, с. 293]. С. В. Оболенская называет этот образ «идеальным», несмотря на все «варварские мерзости русской народной жизни», предстающие в многочисленных описаниях в художественных произведениях писателя [132, с. 292-293].

В «Подростке» Версилов рассуждает о появлении в России «нигде не виданного высшего культурного типа <...> типа всемирного боления за всех» хранящего «в себе будущее России», причисляет и себя к его носителям, так

как, по его мнению, этот исконно русский тип «взят в высшем культурном слое народа русского», к которому он принадлежит. [50, т.13, с. 376]. То есть русскому народу изначально присуща врожденная «братская любовь к другим народам» и потребность «всеслужения человечеству» [120, с. 462].

В «Дневнике писателя» Ф. Достоевский описывает случай под Севастополем, когда русские солдаты, «не знающие хорошенько молитв», оказывали помощь раненым французам даже прежде, чем своим соотечественникам: «Те пусть полежат и подождут; русского-то всякий подымет, а французик-то чужой, его наперед пожалеть надо...». «Разве тут не Христос, и разве не Христов дух в этих простодушных и великодушных, шутливо сказанных словах?» – восклицает автор [50, т.25, с. 123].

Символично, что именно знаменитый старец Зосима в «Братьях Карамазовых», обладающий «особенным свойством души» – «необыкновенное <...> существо», по мнению Алеши, чтимый и обожаемый простым народом: «они его так любят <...> повергаются пред ним и плачут от умиления», в его лице русский простолюдин обрел «святыню или святого» [50, т.14, с. 29], призывает беречь народ, «оберегать сердце его», «ибо сей народ – богоносец», подчеркивая, что «русский же монастырь искони был с народом» [50, т.14, с. 285].

В романе «Подросток» Ф. Достоевский создает образ русского святого скитальца в лице бывшего дворового Версиловых Макара Ивановича Долгорукого, человека незаурядного, умевшего «показать себя», характера упрямого, подчас даже рискованного, но в то же время жившего «почтительно» и заслужившего «всеобщее уважение»: «тут уж его не иначе поминали как какого-нибудь святого и много претерпевшего». Впоследствии он становится «так называемым странником» [50, т.13, с. 14-15]. Этот «бывший дворовый человек и бывший слуга, родившийся слугою и от слуги», в «высшей степени бродяга», вызывает чувство уважения даже у Версилова, называющего его «человеком почтенным и замечательного умом и характером», высоко ценившего старика как разносторонне развитую, духовно богатую личность:

«Ты еще не знаешь, до какой степени интересуется он иными событиями в России за последнее время. Знаешь ли, что он великий политик?», «Науку уважает очень...», к тому же «несколько художник» [50, т.13, с. 109-110]. Более того, имел независимое мнение: «уже ни за что в нем не передвинешь»; «убеждения <...> и твердые, и довольно ясные <...> и истинные». Но главное – это «скромная почтительность <...> которая необходима для высшего равенства <...> именно, через отсутствие малейшей заносчивости, достигается высшая порядочность и является человек, уважающий себя несомненно и именно в своем положении...» [50, т.13, с. 109-110].

Ф. Достоевский усматривал великую будущность русского народа в «служении истинному христианству», для него «русский народ – народ богоносец-мученик», избранный «для осуществления в братском союзе» с другими народами «истинного всечеловечества, или вселенской церкви» [165, с. 304]

Для писателя православная вера является «синонимом русскости», ведь только лишь в православии, по мнению автора, «во всей чистоте сохранился утраченный в Европе образ Христа и идеал всемирного единения во Христе» [119, с. 293]. В письме к А. Н. Майкову от 21 октября 1870 г. Ф. Достоевский пишет: «русский дух, единение, – всё это есть и будет и в такой силе, в такой целостности и святости <...> что иностранцы не понимают и никогда не поймут всей глубины и силы нашего единения...» [50, т.29, кн.1, с. 146].

Восхищаясь героическим поступком Фомы Данилова, «подвигом веры «замученного русского героя», Ф. Достоевский показывает его «как «эмблему», как «портрет», как «всецелое изображение» русской веры, как идеальное проявление национальной сущности, подтверждение ее уникальности и величия» и делает вывод, что подвиг Данилова скорее всего «даже и не удивителен <...> уже по одной великой вере народа в себя и в душу свою», так как – это «как бы портрет, как бы всецелое изображение народа русского», ведь народ «отзовется на этот подвиг лишь великим чувством и великим умилением» в отличие от возможной реакции на «подобный факт проявления

великого духа» у представителей иных наций: у немцев, англичан, французов и др., которые «прокричали бы о нем на весь мир» [50, т.25, с. 13-14].

При этом писатель поднимает проблему, особенно тревожившую его – проблему разобщенности русской интеллигенции с простым народом. Описывая героический поступок Фомы Данилова, который «привлек положительное внимание и достойно обсуждался прежде всего в народе», «у купцов», «у духовных», т. е. в самой «почвенной среде», Ф. Достоевский, как считает В. В. Борисова, представляет этот эпизод своеобразной «лакмусовой бумажкой», «позволившей обнаружить или полноту и естественность, или отсутствие и ущербность патриотических чувств и веры в каждом русском православном человеке», акцентирует внимание на том, что «культурные сословия», оторвавшиеся от «почвы», демонстрируя «равнодушно-безразличное отношение», «не придали случаю с Фомой Даниловым особого значения, что, по Ф. Достоевскому, послужило «выражением ущербности их национально-религиозного сознания», утрату «способности откликаться на важные в национальном и религиозном плане события» [19, с. 21].

Вместе с тем немаловажно подчеркнуть, что писатель, по словам В. С. Соловьева, «никогда не идеализировал народ и не поклонялся ему как кумиру»; прежде всего он чтит в нем «необыкновенную способность усваивать дух и идеи чужих народов, перевоплощаться в духовную суть всех наций...» [165, с. 304].

В сочинении «Смерть Жорж Занда» Ф. Достоевский отмечает, что «Шекспир, Байрон, Вальтер Скотт, Диккенс – роднее и понятнее русским, чем, например, немцам...» [50, т.23, с. 31].

В статье «По поводу выставки» («Дневник писателя» за 1877 год) Достоевский выразил сомнение в способности европейцев должным образом понять и оценить русские картины на выставке в Вене (1873 г.). К примеру, картину Маковского «Любители соловьиного пения», по мнению писателя, «за границей понять, конечно, не смогут» [132, с. 292]. Относительно известной картины Перова «Охотники на привале», Ф. Достоевский уверен, что в случае

изображения художником «французских или немецких охотников», «мы, русские, поняли бы и немецкое и французское вранье <...> угадали бы все, смотря только на картину», в отличие от того же немца, который «как ни напрягайся, а нашего русского вранья не поймет»: «это то, что мы-то подобную картину у немцев, из них немецкого быта, пойдем точно так же, как и они сами...». Русский народ «дружественно, с полной любовью принял в душу <...> гении чужих наций <...> умея инстинктом <...> различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия <...> Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное» [50, т.26, с. 147].

Эту уникальную «русскую способность европейского языкознания и многоязычия, способность передавать все европейские языки», «способность понять самую душу чужого народа», автор называет «явлением, почти не повторявшемся в других народах в такой степени, во всю всемирную историю» [50, т.23, с. 31]. Ф. Достоевский отмечал в этой способности «знак особого предназначения», который «сулит много в будущем, на многое русских предназначает», а также, делал заключение о «широкости ума» русского народа [50, т.21, с. 69].

На «широкость» как особенное свойство русского человека Ф. Достоевский указывает постоянно, начиная с романа «Игрок». Об этом свидетельствует, сравнивая русских с иностранцами, нарратор и один из персонажей «Игрока» Алексей Иванович: «русские слишком богато и многосторонне одарены, чтобы скоро приискать себе приличную форму» [50, т.5, с. 230]. Писатель считал, что основные черты европейцев в процессе исторической и культурной эволюции Запада уже обрели свой отчетливый и окончательный вид. Об этом в беседе с мистером Астлеем говорит Алексей Иванович: «национальная форма француза, то есть парижанина, стала слагаться в изящную форму, когда мы еще были медведями. <...> Теперь самый пошлейший французишка может иметь манеры, приемы, выражения и даже мысли вполне изящной формы...» [50, т.5, с. 315].

Что касается, русского национального типа, то он еще не приобрел конкретных характерных особенностей, пребывает в процессе формирования и, благодаря этому, способен преодолеть сложившиеся западные стереотипы, в чем, по Ф. Достоевскому, и есть историческое призвание России, которая должна предложить миру свои высокие нравственные общечеловеческие идеалы.

Анна Андреевна в «Подростке», «неприступная, гордая, действительно достойная девушка» – одна из многих русских, обладающих таким качеством – «с таким умом» – «русский ум, таких размеров, до широкости охотник; да еще женский, да еще при таких обстоятельствах!» [50, т.13, с. 326]. Версиков по этому поводу говорит: «Народ <...> доказал эту великую, живучую силу и историческую широкость свою и нравственно, и политически...» [50, т.13, с. 405].

Это же свойство приписывает себе и главный герой романа, молодой Аркадий Долгорукий. Пересказывая разговор с Ламбертом, он отмечает: «я решился слушать его из „широкости”» [50, т.13, с. 356]. После несостоявшегося поджога и болезни вследствие проведенной на снегу ночи Аркадий удивляется самому себе: «каким образом могли сочетаться все мирные впечатления и наслаждения затишьем с мучительно сладкими и тревожными биениями сердца при предчувствии близких бурных решений – не знаю, но все опять отношу к „широкости”» [50, т.13, с. 307]. Примечательно, что слово «широкость» в этом случае нарратор сам берет в кавычки.

С «широкостью» русского человека Раскольников в «Преступлении и наказании» связывает постоянное присутствие и важность для человека страдания: «страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца» [50, т.6, с. 203].

В «Дневнике писателя» за 1877 год Ф. Достоевский провозглашает приход новой идеи, несущей «с собою единение славян»: «А между тем на Востоке действительно загорелась и засияла небывалым и неслыханным еще светом третья мировая идея – идея славянская, идея нарождающаяся, – может быть

<...> грядущая возможность разрешения судеб человеческих и Европы...» [50, т.25, с. 9]. Преследуя идею «объединения идей и объединения людей», автор определяет суть «русской идеи» в «объединение разрозненных идей всех наций и народностей», «объединении славянофилов и западников на родной почве», в «общечеловечности», в том, что «падут когда-нибудь, перед светом разума и сознания, естественные преграды и предрассудки, разделяющие до сих пор свободное общение наций эгоизмом национальных требований, и что тогда только народы заживут одним духом и ладом, как братья, разумно и любовно стремясь к общей гармонии...» [50, т.25, с. 404]. В романе «Братья Карамазовы» данная концепция подтверждается проповедью старца Зосимы, в основу которой положена идея братства людей: «Были бы братья – будет и братство...» [50, т.14, с. 286].

Ф. Достоевский считает вопрос о братстве первостепенным в своем творчестве и искренне надеется на вероятность воплощения своего идеала. В вопросе развития личности сконцентрировано очень многое: судьба человечества, будущее отдельной личности, ее роли в обществе, вопрос о вере и неверии, о духовном идеале, то есть самые главные вопросы бытия. Тот же путь развития одновременно для себя и для общества Ф. Достоевский считал применимым и к национальностям: «Каждая нация, живя для себя, в то же время, уже тем одним, что для себя живет, – для других живет...» [50, т.25, с. 109]. То есть законы развития в человеческом обществе представляются писателю одинаковыми для отдельной личности и для такой их крупнейшей совокупности, как нация.

Интересно, что в понимании соотношения России и Запада Ф. Достоевский часто сходил даже с таким своим идейным противником, как Н. Г. Чернышевский. Автор романа «Что делать?» считал, что предназначением русского народа как нации есть «руководство человечеством в дальнейшем прогрессе», причем, эта мысль основывалась, прежде всего, на том, что разные европейские народы уже сделали свой вклад в развитие цивилизации, тогда как русскому народу еще только предстоит это сделать. Достоевский ставит вопрос



еще более радикально: еще до поездки за границу он мыслил Россию спасительницей Европы, а после путешествия данная концепция вырисовалась еще более отчетливо. Чтобы резче обозначить вопросы о судьбах России, о будущем цивилизации, автор в «Записках» пророчит русскому народу будущее проводника великой миссии. Лозунг братства на Западе показал свою несостоятельность, Россия же, по мнению Ф. Достоевского, могла явить миру более высокое и отличное от западного развитие личности. Главным критерием же для идеального единения людей для писателя выступает национальный характер, народ. В 60-е годы понятие «народ» наполняется нравственным содержанием, но когда Ф. Достоевский принимается за исследование русского характера, нация оказывается разделенной на народ и образованное общество, оторванное от «почвы» в результате европейского влияния. Писатель утверждает, что именно для народа характерна целостность натуры и братские чувства, и призывает представителей российской интеллигенции прибегнуть к народным истокам нации для того, чтобы воспрепятствовать всеохватывающему проникновению в уклад русской жизни западноевропейских порядков, несущих социальные кризисы, бунты, национальную вражду.

Размышлениями о французах и англичанах, обращаясь к славянофилам, Ф. Достоевский хочет понять сущность русского духа, русского народа. Вспомним, что в 60-е годы интерес национального характера получает новый поворот, все более пристальное внимание привлекают «старые» понятия: «русский», «европейский», «французский», «английский». Понятие «русский» в русской литературе XIX века перестает быть чисто национальным, прежние представления оказываются недостаточными, национальные определения приобретают новое содержание: социальное, этическое, историческое. «Русское» воспринималось как стремление к единению, миру, повышался интерес к национальному характеру. Как отмечает Т. Б. Истомина, «народ привлекал не только как обездоленная, социально бесправная часть общества, но, прежде всего как носитель национального предания, как могучая сила,

которая может в корне изменить жизнь нации. Национальная жизнь России может строиться, лишь сообразуясь с народными идеалами и верованиями» [70, с. 5].

Чтобы лучше понять «русский характер», Ф. Достоевский обращается как к творчеству Пушкина, который, на его взгляд, «есть живое уяснение <...> что такое дух русский», так и к славянофилам и ко всей истории русской литературы [50, т.26, с. 448]. Для писателя в разгадке тайны соединения человеческого духа с родной землей кроется многое, в том числе и объяснение феномена Пушкина. Идеи Ф. Достоевского непосредственно связаны с единением интеллигенции со своей «почвой», с народом, поэтому, выступая против буржуазных отношений, писатель видит своеобразие исторического пути России именно как возможность противостоять им.

Указывая на «бесспорно всеевропейскую и всемирную» миссию русского человека, на его благородное предназначение «стать братом всех людей, всечеловеком», Ф. Достоевский в своей «пушкинской речи» обращает внимание на предрасположение русского народа «к всемирной отзывчивости и к всепримирению» [50, т.26, с. 147]. Отстаивая свою идею о «всеевропейской и всемирной» миссии русского человека, писатель утверждает, что русский народ «принял в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий», а также «умея <...> снимать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже выказали готовность и склонность нашу <...> ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами...» [50, т.26, с. 147].

Неслучайно и Иван Карамазов называет Европу «страшной и святой вещью»; страшной – так как она олицетворяет собой уходящую культуру с самоотрицанием высших ценностей и самого «всечеловеческого» идеала: Христа. Но Европа все же «святая» – преимущественно своим былым романтизмом, рыцарством. Ф. Достоевский почитает в лице Европы «благословенное прошлое», Европу как «самое дорогое кладбище», хотя и уясняет, «что все это давно уже кладбище, и никак не более». Европейские

«опоры» по-прежнему дороги «русскому типу», но уже мертвы, и стали «кладбищенскими камнями» [50, т.14, с. 210].

Версилкову Европа дорога, «так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. <...> Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их – мне милей, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим!» [50, т.13, с. 377].

В «Дневнике писателя» (1877 год) Ф. Достоевский проповедует, что русская национальная идея есть, прежде всего, «лишь всемирное общечеловеческое единение», так как русский человек не сможет отречься от Европы: «Европа нам второе отечество <...> почти так же всем дорога, как Россия» [50, т.25, с. 23], «настоящее социальное слово несет в себе не кто иной, как народ наш <...> в идее его, в духе его заключается живая потребность всеединения человечества, всеединения уже с полным уважением к национальным личностям и к сохранению их...» [там же]. Более того, в другом месте Ф. Достоевский настаивает, что «резких различий в народных задачах нет, потому что в основе каждой народности лежит один общечеловеческий идеал, только оттененный местными красками» [50, т.20, с. 19]. Соответственно, согласно утверждению писателя, между «народами никогда не может быть антагонизма, если бы каждый из них понимал истинные свои интересы». Проблему же Ф. Достоевский видит, прежде всего, в том, что такое «понимание чрезвычайно редко, и народы ищут своей славы только в пустом первенстве перед своими соседями...» [50, т.20, с. 19].

Следовательно, можно прийти к выводу, что обязательным результатом «социально-политического обновления России» для литератора является следование идее «русского почвенного идеала», подразумевающим «общность закона для всех, все люди братья...» [50, т.20, с. 202].

В доказательство Ф. Достоевский приводит пример единичный (но «без единичных случаев не осуществишь и общих прав»), но яркий, вселяющий надежду в достижение цели «общечеловечества», «первый шаг к будущему соединению во всем» – пример доктора-протестанта Гинденбурга из «Дневника писателя» (1877 г.) «Похороны общечеловека», человека, посвятившего всю свою жизнь служению людям, независимо от веры, нации, общественного положения, а после смерти сплотившего самых разных людей – «этот общий человек хоть и единичный случай, а соединил же над гробом своим весь город...» [50, т.25, с. 92].

Но для того, чтобы «слепить общечеловека», как утверждает Ф. Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях», необходима в первую очередь «натура, потом наука, потом жизнь самостоятельная, почвенная, нестесненная, и вера в свои собственные, национальные силы...» [50, т.5, с. 61].

Таким образом, проблема «Россия – Запад», четко обозначившаяся у Ф. Достоевского в 60-е годы, во многом определила данный период творчества писателя. Решение поставленной проблемы должно было дать миру новый путь развития цивилизации – русский образец, полностью отличающийся от буржуазного западного. Активно апеллируя к понятиям «русское», «западное», «европейское», Ф. Достоевский резко критикует буржуазную систему; в его представлении «буржуа» – есть моральное содержание со всеми его минусами: «искажением нравственного чувства», поглощенностью мелочными интересами, трусостью [50, т.26, с. 147]. Но, несмотря на все негативные стороны западной цивилизации, Достоевский все же стремится к взаимодействию западной и русской культур, их взаимодополнению, так как невозможно отрицать глубокую историческую основу взаимосвязи двух культур, их взаимовлияния, как отрицательного, так и положительного.

Предлагая собственный рецепт по спасению Европы с помощью России, русского православия и «всечеловеческих» устремлений русского человека, писатель, тем не менее, остается в плену собственных неразрешимых

противоречий, которые не столь очевидны в его публицистике, хотя и признаются самим автором в многочисленных оговорках и автокомментировании «в скобках» и становятся особенно наглядными в художественных произведениях. Первое их них в том, что Ф. Достоевский не принимал современную ему Европу, хотя в то же время, по его утверждению, «любил» ее (любят ее и герои писателя, что проявляется и в их действиях – многократных путешествиях по Европе, и в откровенных признаниях, как, например, Версилов из «Подростка» или князь Мышкин из «Идиота»). Во-вторых, очевидно, что образы персонажей, призванных выразить «почвеннические» идеалы либо схематичны и одноплановы (как Дмитрий Прокофьевич Разумихин из «Преступления и наказания» или Макар Иванович Долгорукий из «Подростка»), либо отмечены противоречивостью поведения и жизненной позиции (как Антонина Васильевна Тарасевичева из «Игрока» или Иван Шатов из «Бесов»). В-третьих, представляется симптоматичным, что в значительном своем большинстве второстепенные или же эпизодические персонажи «из народа», который, как утверждает Достоевский-публицист, отмечены «богоносностью», способностью к «всечеловечности» и «всепрощению», показаны в произведениях писателя в негативном свете, как например, мужик и баба, которые подбирают на свою подводу Степана Трофимовича Верховенского во время его побега из родного города. Наконец, весьма неоднозначными предстают в художественных произведениях Ф. Достоевского и сами иностранцы, что было показано в подразделе 2.1. [50, т.26, с. 114; т.25, с. 202].

### **3.2. «Детское сознание» в интерпретации Ф. М. Достоевского как идеал и критерий «всечеловечности».**

Ф. М. Достоевский как православный и «шире – христианский писатель» – не мог обойти вниманием и «философско-религиозную» суть «детского вопроса». В разных его произведениях последовательно воплощается

антиксенофобская направленность в изображении детского сознания. Рассматривая эту проблему, необходимо обратить внимание на значимость темы детства, проходящей «красной линией» через все творчество писателя, трактуемая, по определению Е. Е. Кулаковой «как некая исходная форма человеческого существа...» [97].

Известно, что Ф. Достоевский очень часто использовал эпитет «детский» как синоним «невинности и нравственной чистоты» [169]. Т. А. Степанова связывает это с его уверенностью в «отсутствии <...> и в невозможности грехов в детстве, детской вины пред кем бы то ни было – богом или людьми», так как «отсутствие в ребенке полноценного сознания обуславливало невозможность сознательного зла – следовательно, и „невинность”» [169]. Владея качествами «идеальной личности: способностью беззаветно верить и безгранично доверять, искренне, всем существом любить» [166], дети в творчестве Ф. Достоевского, по мнению Чжан Бяньгэ, являются «символом чистоты», «носителями авторского идеала» [24]. Исследователь обосновывает свое мнение невинностью детского возраста, тем что «в отличие от взрослых <...> их разум лишен предрассудков, предрасположенности к злу. В символическом смысле детство как чудо и как великая метафизическая сила способно преобразить мир» [24]. По всей видимости, разделяя мнение своего персонажа, Ф. Достоевский устами Ивана Карамазова в «Братьях Карамазовых» сообщает: «Дети, пока дети, до семи лет, например, страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой». В «младенческих годах», по мнению Ф. Достоевского, «никак нельзя ожидать в ребенке расчётливой хитрости, пронырства или искусства заискивать и понравиться, уменья заставить себя полюбить» [50, т.14, с. 19].

Знаменательно, что ребенок у Ф. Достоевского совершенно освобожден от национального элемента. Во всяком случае, в его оценке нарратором этот аспект, если и присутствует, то, так или иначе, перекрывается общей положительной окраской изображения. Стоит обратить внимание на вариант решения писателем «еврейского вопроса» в «Дневнике писателя» (февраль

1877 г.) – «новорожденный еврейчик» в руках у доктора-еврея – «залог будущего всечеловеческого согласия», отмечающего все межнациональные предрассудки [цит. по: 169]. Более того, образ «ребенка» часто органично сопрягается с идеей «золотого века», как она выражена Версиловым в романе «Подросток»: «Они стали бы нежны друг к другу <...> и ласкали бы друг друга как дети» [50, т.13, с. 379]. Почти повторяется эта картина в «Дневнике писателя» за 1876-й год: «...я увидел и узнал людей счастливой земли этой <...> они окружили меня, целовали меня <...> о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой <...> хвалили друг друга как дети» [50, т.22, с. 97-98].

Также показательным, что в рассказе генерала Иволгина в романе «Идиот» сначала задается «патриотический» образ ребенка, за которого рассказчик исполняется гордости: «Я люблю гордость этого ребенка!», провозглашая таким образом «мнение всего русского народа» [50, т.8, с. 413]. Одновременно, отмечая все расовые предрассудки, это дитя в состоянии оценить и признать величие образа Наполеона: «Русское сердце в состоянии даже в самом враге своего отечества отличить великого человека!» [50, т.8, с. 413]. Правда, упоминая об этом рассказе генерала, следует учитывать его «фантастичность», а попросту говоря «придуманность». Одной из слабостей генерала является страсть к неумному вранью. Если рассказ о ребенке еще может быть воспринят как близкая к реальности история, то дальнейшее повествование Иволгина о том, как он длительное время был ординарцем самого Наполеона, вызывает недоверчивость даже наивного и всему верящего князя Мышкина.

Без сомнения, у Ф. Достоевского образы детей совпадают с его христианским воззрением: дети являются олицетворением, по словам Т. А. Степановой, «невинности и нравственной» безгрешности, «чистоты души, способной поверить – и устыдиться <...> неперемный компонент идеального духовного облика Человека, Залог спасения человечества – в том, быть может,

что эти идеальные черты вечно будут пребывать в человечестве – в детстве каждого его представителя...» [169]. Недаром в романе «Подросток» князь Сокольский говорит о детях: «эти золотые головки, с кудрями и с невинностью, в первом детстве <...> точно ангелы божии или прелестные птички...» [50, т.13, с. 28]. Подобно этому символом детской непогрешимой веры предстает в рассказе Тришатова с реминисценцией из Диккенса рассказ о «прелестной тринадцатилетней девочке»: «...этот ребенок на паперти собора, вся облитая последними лучами, стоит и смотрит на закат с тихим задумчивым созерцанием в детской душе, удивленной душе, как будто перед какой-то загадкой, потому что и то, и другое, ведь как загадка – солнце, как мысль божия, а собор, как мысль человеческая <...> только бог такие первые мысли от детей любит...» [50, т.13, с. 353].

Знаменательная сцена есть в романе «Преступление и наказание». Вороша воспоминания о детстве своего сына, мать Родиона Раскольников спрашивает его: «Молишься ли ты богу, Родя, по-прежнему и веришь ли в благодать творца и искупителя нашего? <...> не посетило ли и тебя новейшее модное безверие? <...> Вспомни, милый, как еще в детстве своем <...> ты лепетал молитвы свои у меня на коленях и как мы все тогда были счастливы!» [50, т.6, с. 34].

В романе «Идиот» Настасья Филипповна пишет письмо, в котором она «выдумала одну картину», где мечтает написать Христа «иначе», оставив рядом с ним лишь только «одного маленького ребенка»: «ребенок играл подле него; может быть, рассказывал ему что-нибудь на своем детском языке, Христос его слушал, но теперь задумался; рука его невольно, забывчиво осталась на светлой головке ребенка. Он смотрит в даль, в горизонт; мысль, великая, как весь мир, покоится в его взгляде; лицо грустное. Ребенок замолк, облокотился на его колена и, подперши ручкой щеку, поднял головку и задумчиво, как дети иногда задумываются, пристально на него смотрит. <...> Вы невинны, и в вашей невинности всё совершенство ваше» [50, т.8, с. 380].

Князь Мышкин в «Идиоте» трансформирует мысль писателя про необходимость доверия, «уважения к детству»: «я им (детям) все говорил,



ничего не утаивал <...> как плохо знают большие детей, отцы и матери даже своих детей. От детей ничего не надо утаивать, под предлогом, что они маленькие и что им рано знать <...> лгать им стыдно, что они и без того всё знают, как ни таи от них, и узнают. <...> Стоило только всякому вспомнить, как сам был ребенком» [50, т.8, с. 58].

Еще в Швейцарии князь Мышкин поддерживал дружеские связи с группой местных детишек, причем, общался с ними «как с большими» [50, т.8, с. 61], так как герой делает вывод, что, как ни удивительно, дети могут многому научить взрослых, ведь в них живет «безотчетное детское чувство правды», которое «безусловно, глубже и ближе к истине, нежели взрослое»; «ребенок знает иногда о боге или добре и зле такие удивительные вещи <...> нам неизвестные <...> он знает о боге, может быть, уже столько же, сколько и вы, а о добре и зле и о том, что стыдно и что похвально, – может быть даже и гораздо более вас. – Через детей душа лечится...» [50, т.8, с. 58]. Знаменательный момент есть в «Бесах» – разговор Коли Красоткина и Алеши Карамазова: «Я пришел учиться у вас, Карамазов», тот символично отвечает: – «А я у вас, – улыбнулся Алеша, пожав ему руку» [50, т. 14, с. 484].

Иван Карамазов, утверждая, что «неотъемлемой составляющей образа детства» есть любовь («деток можно любить даже и вблизи, даже и грязных, даже дурных лицом»), категорично отзывается о взрослых, заявляя: «они отвратительны и любви не заслуживают...» [50, т.14, с. 216]. Обращаясь к Алеше, Иван утверждает ключевую для себя идею, что в любви к детям выявляется человеческая сущность: «Любишь ты деток, Алеша? Знаю, что любишь, и тебе будет понятно, для чего я про них одних хочу теперь говорить...» [50, т.14, с. 216].

Старец Зосима наставляет своих современников: «Деток любите особенно, ибо они тоже безгрешны, яко ангелы, и живут для умиления нашего, для очищения сердец наших и как некое указание нам» [50, т.14, с. 289].

Еще одна немаловажная функция детских образов у Ф. Достоевского в том, что через контакт с ребенком человек, казалось бы, уже совсем падший и

потерявший чувство смысла жизни, возрождается к ней и сам превращается в ребенка. Именно так описан Кириллов из «Бесов», лицо которого во время игры с «полуторагодовым ребенком, в одной рубашонке, с голыми ножками, разгоревшимися щечками», приобретает на мгновение «самое детское выражение» [50, т.10, с. 78].

Но проблема незащищенности ребенка в «падшем мире взрослых» также беспокоит писателя, и он рассматривает эту проблему в двух аспектах. Во-первых, уязвимость детей «перед натиском ложных идей»: «Самое ужасающее в детском мире – неосознанное подражание детей поведению взрослых, возможность совершения преступления» [24]. Так заимствование образа действий так называемых «новых людей» Колей Красоткиным в «Братьях Карамазовых» – пример этому. Объявляя себя социалистом, Коля еще не может в полной мере осознать суть этого движения, не в состоянии отличить в нем «зерна от плевел», на что ему мягко указывает Алеша Карамазов, уличая Колю в том, что он даже не читал книг своих «кумиров». Во-вторых, незащищенность детей от произвола и насилия взрослого мира. Ф. Достоевский неоднократно поднимает данную проблему (см., например, в «Зимних заметках о летних впечатлениях»): «В Гай-Маркете я заметил матерей, которые приводят на промысел своих малолетних дочерей. Маленькие девочки лет по двенадцати хватают вас за руку и просят, чтоб вы шли с ними <...> в толпе народа, на улице, я увидал одну девочку, лет шести <...> всю в лохмотьях, грязную, босую, испитую и избитую: просвечивавшее сквозь лохмотья тело ее было в синяках. Она шла, как бы не помня себя. <...> Но что более всего меня поразило – она шла с видом такого горя, такого безвыходного отчаяния на лице, что видеть это маленькое создание, уже несущее на себе столько проклятия и отчаяния, было даже как-то неестественно и ужасно больно» [50, т.5, с. 72].

Не меньше внимания уделяется проблеме незащищенности ребенка перед жестокостью и произволом взрослых и в художественных произведениях автора. Особенно часто об этом идет речь в «Братьях Карамазовых». Ср.:

«Девченокку маленькую, пятилетнюю, возненавидели отец и мать, почтеннейшие и чиновные люди, образованные и воспитанные» – «есть особенное свойство у многих в человечестве – это любовь к истязанию детей, но одних детей». По мнению писателя, именно «незащищенность-то этих созданий и соблазняет мучителей, ангельская доверчивость дитяти <...> вот это-то и распаляет гадкую кровь истязателя...» [50, т.10, с. 220]. Против этого явления протестуют даже такие антиподы, как Иван Карамазов и старец Зосима: «Да не будет же сего <...> да не будет истязания детей...» [50, т.14, с. 286]; «если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети...?» [50, т.14, с. 222].

Многих своих персонажей, даже не столь положительных, Ф. Достоевский «оправдывает» их самоотверженными, добрыми поступками по отношению к детям. Например, к Степану Трофимовичу Верховенскому «удивительно <...> привязывались дети» [50, т.10, с. 59]; «последний негодяй и мерзавец» Свидригайлов устраивает несчастных детей Катерины Ивановны «в весьма приличные для них заведения; что отложенные для них деньги тоже многому помогли...» [50, т.26, с. 336]; в пользу убийцы Раскольникова свидетельствует «бывшая хозяйка его <...> вдова Зарницына», рассказывая, что «Раскольников во время пожара, ночью, вытащил из одной квартиры, уже загоревшейся, двух маленьких детей, и был при этом обожжен» [50, т.6, с. 412]; В «Подростке» Версилов берет на себя заботу о покинутом ребенке князя Сергея Петровича. Так же поступает и его сын: «поспорив с Николаем Семеновичем, я вдруг объявил ему, что беру девочку на свой счет» [50, т.13, с. 80].

Современные исследователи творчества писателя отмечают присутствие в его сочинениях «некой исходной формы человеческого существа» – «детского начала», чувства «детскости», являющееся маркером нравственной чистоты внутреннего мира взрослого, сохранившего в себе такие позитивные качества, как отзывчивость, нравственность, человеколюбие, гуманность и т.д. [97]. Не случайно Митя Карамазов на основании пережитого и еще больше в предчувствии будущего страдания приходит к выводу: «есть малые дети и

большие дети. Все – „дитё”» [50, т.15, с. 31]. По мнению Е. Е. Кулаковой, в «Преступлении и наказании» «детское и взрослое в Раскольникове <...> ведут сложную тяжбу-борьбу», в результате которой победа «Детского Начала в судьбе героя» дает еще один шанс «переиграть жизнь, начав сначала», а на примере Сони Мармеладовой Ф. Достоевский определяет «возможности Детского Начала как действенной силы для перерождения человека, как средства благотворного воздействия на других – близких людей, как решающего фактора в процессах восстановления падшего человека...» [97].

В оправдание Катерины Ивановны Соня не случайно сравнивает ее с ребенком: «она совсем как ребенок. <...> Она чистая. Она так верит, что во всем справедливость должна быть, и требует. <...> Она сама не замечает, как это всё нельзя, чтобы справедливо было в людях, и раздражается. <...> Как ребенок, как ребенок! Она справедливая, справедливая!» [50, т.6, с. 243]. В романе «Преступление и наказание» лицо Лизаветы перед убийством также приобрело выражение «совершенно детское», «точь-в-точь как маленькие дети, когда они вдруг начинают чего-нибудь пугаться, смотрят неподвижно и беспокойно на пугающий их предмет, отстраняются назад и, протягивая вперед ручонку, готовятся заплакать» [50, т.6, с. 315].

Молодой Долгорукий в «Подростке» «горько, навзрыд, заплакав», находит в себе «вдруг маленького ребенка»: «маленький ребенок, значит, жил еще тогда в душе моей на целую половину...» [50, т.13, с. 236].

Галерея персонажей, сравниваемых с детьми, в произведениях Ф. Достоевского достаточно велика. Одной из них является генеральша Епанчина из «Идиота», к которой князь Мышкин обращается с такой же детской естественностью: «я просто уверен, что вы совершенный ребенок во всем, во всем, во всем хорошем и во всем дурном, несмотря на то, что вы в таких летах» [50, т.8, с. 65]. Интересно, что после всех своих испытаний и во многом меняющемся отношении к людям князь Мышкин почти повторяет эту фразу: «О, какой же вы маленький ребенок, Лизавета Прокофьевна!» [50, т.8, с. 267]. Даже Ипполит Терентьев, взывая к ней о помощи, называет ее

ребенком: «святая, вы <...> сами ребенок, – спасите их!» [50, т.8, с. 248]. О старике Ихменеве нарратор в «Униженных и оскорбленных», начинающий писатель Иван Петрович говорит: «быстрый в переходах от сомнения к полной, восторженной вере, радуется как ребенок...» [50, т.3, с. 187]. О Кате из этого же романа сказано, что она «совершенный ребенок, но какой-то странный, *убежденный* ребенок, с твердыми правилами и с страстной, врожденной любовью к добру и к справедливости <...> она принадлежала к разряду *задумывающихся* детей, довольно многочисленному в наших семействах» [50, т.3, с. 348; курсив автора. – И.М.]; даже «бесхарактерный, легкомысленный, чрезвычайно нерассудительный» Алеша – «в двадцать два года еще совершенно ребенок и разве только с одним достоинством, с добрым сердцем <...> даже обидеть, обмануть его было бы и грешно и жалко, так же как грешно обмануть и обидеть ребенка» [50, т.3, с.202].

Отдельное внимание необходимо уделить князю Мышкину, «идеальному человеку», из каких и должно будет сложиться человечество «золотого века»: «дитя совершенное, с ним можно еще в жмурки играть...», «совершенный ребенок, то есть вполне ребенок, что <...> только ростом и лицом похож на взрослого, но что развитием, душой, характером и может быть, даже умом <...> не взрослый...» [50, т.8, с. 63].

Отмечая в детских образах «ту нравственную чистоту, доброту души, которые утрачены взрослыми», Ф. Достоевский не случайно наделил лучших своих «взрослых» персонажей их чертами, но при этом писатель всегда подчеркивал немаловажность такого фактора, как «детские впечатления прекрасного», «первые впечатления детства и родного гнездышка», обладающие заметным воздействием «на характер» человека: «Самые сильнейшие и влияющие воспоминания почти всегда те, которые остаются из детства. А потому и сомнения нет, что воспоминания и впечатления, и, может быть, самые сильные и святые, унесутся и нынешними детьми в жизнь...» [50, т.25, с. 173]. Эта идея, зафиксированная Ф. Достоевским в «Дневнике писателя» за 1877 год, неоднократно варьируется в разных художественных

произведениях писателя. Так, Алёша Карамазов заявляет: «прекрасное, святое воспоминание, сохранившееся с детства, – может быть, лучшее воспитание и есть, если много таких воспоминаний набрать с собою в жизнь, то спасён человек на всю жизнь...» [50, т.14. с. 195].

В «Униженных и оскорбленных» главный герой с тоской вспоминает о прошедшем детстве: «Золотое, прекрасное время! Жизнь сказывалась впервые, таинственно и заманчиво, и так сладко было знакомиться с нею» [50, т.3, с. 178]. Старец Зосима также бережно хранит детские «драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском, и это почти всегда так, если даже в семействе хоть только чуть-чуть любовь да союз» [50, т.14, с. 263-264].

Но вместо «впечатлений прекрасного» ребенок зачастую получает в детстве совсем иное. Писатель часто задается вопросами: «Но что именно будет в этих воспоминаниях, что именно унесут они с собою в жизнь, как именно сформируется для них этот дорогой запас? <...> Какие впечатления выносит из своего детства уже теперешняя современная нам молодежь, если с самого первого детства своего эти дети встречали в семействах своих один лишь цинизм, высокомерное ж равнодушное отрицание?» [50, т.21, с. 134-135]. В статье «Одна из современных фальшей» («Дневник писателя», 1873 г.) Ф. Достоевский озабочено рассуждает о все большем распространении семейств, «где дети воспитываются без почвы, – вне естественной правды, в неуважении или в равнодушии к отечеству и в насмешливом презрении к народу <...> из этого ли родника <...> почерпнут правду и безошибочность направления своих первых шагов в жизни?» [50, т.21, с. 132].

В «Зимних заметках о летних впечатлениях» писатель вспоминает о своих детских впечатлениях, навеянных рассказами и чтением «на сон грядущий» романов Радклиф, от которых он «потом бредил во сне в лихорадке», о своем рвении за границу «чуть не с <...> первого детства»: «ведь вся наша жизнь по европейским складам еще с самого первого детства сложилась. Неужели же

кто-нибудь из нас мог устоять против этого влияния, призыва, давления?» [50, т.5, с. 51].

В то же время Ф. Достоевский верил, что современная ему молодежь способна освободиться от тлетворных влияний, избавиться от случайного и наносного, проложив себе и грядущим поколениям путь к высшим моральным ценностям. Пожалуй, наиболее убедительным художественным образом, подтверждающим эту надежду, является образ Коли Красоткина из романа «Братья Карамазовы», оказавшегося способным осудить и переменить себя, осознать свои недостатки и обратиться к добру и справедливости, ориентируя свою жизнь на служение людям.

### **Выводы к разделу 3.**

Таким образом, проанализировав взгляды Ф. М. Достоевского на общенациональную специфику исторического развития России и их проекцию в творчестве писателя, мы делаем заключение, что через весь цикл произведений Ф. Достоевского в соответствии с его «почвеннической» концепцией «проходит идея всеохватывающего единства западного и русского духа», идея о том, что «у нас русских, две родины – Европа и наша Русь», что находит отображение в позитивной национальной идентичности образов, несущих в себе идейное отражение «почвеннических» взглядов писателя [50, т.23, с. 30].

Особое значение в свете идей «почвенничества», возможностей достижения идеала «всечеловечества» и критериев оценки потенциала личностного совершенствования имеют у Ф. Достоевского детские образы, являющиеся воплощением «невинности, беззащитности, безответственности», открытости «чужому» миру и человечеству [50, т.23, с. 31].

## РАЗДЕЛ 4.

### ПОЭТИКО-СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И ПУБЛИЦИСТИКЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

#### 4.1. Языковые средства реализации оппозиции «свой – чужой».

Предметом нашего исследования в данном подразделе являются лингвостилистические особенности изображения персонажей Ф. М. Достоевского, вписывающихся в типологию чужеродных русской национальной «почве» и, в частности, оппозиция «свой – чужой» как выявление языковой картины мира, которая находит отражение как в художественных, так и в публицистических текстах Ф. Достоевского, написанных на протяжении всего его творчества и связанных с ключевыми национальными вопросами его времени – «немецким», «польским», «еврейским» и т.д.

Заявленная оппозиция очерчивается Э. Бенвенистом в границах «свободный – раб, чужой, чужеземец»; при этом французский лингвист указывает, что слова со значением «чужестранец», «чужеземец» в определенных «индоевропейских языках» имели конкретное определение «враг» и сопровождалась негативной оценкой [13, с. 236]. По отношению к истории русского языка об этом писал русский лингвист И. И. Срезневский. Полагаясь на этимологические исследования, он отмечал, что «древнерусское слово «чужий» («щужий») имело значение «чужой», «чуждый», «злодей», «нечестивец», «отвратительный» и т. д. [167].

Анализ особенностей словоупотребления, связанных с изображением иностранцев и «отщепенцев» у Ф. Достоевского, говорит о том, что они существенно не отличаются от всеобщих принципов работы писателя со словом. Для соответствующей интерпретации этой сферы поэтики автора «Преступления и наказания» определяющее значение имеет методологическая



установка, разработанная М. М. Бахтиным в контексте его концепции диалогической природы творчества Ф. Достоевского. Исследователь, в частности, отмечал, что «в произведениях Достоевского нет окончательного, раз и навсегда определяющего слова. <...> Слово героя и слово о герое определяются незакрытым диалогическим отношением к себе самому и к другому. Авторское слово не может объять со всех сторон, замкнуть и завершить извне героя и его слово. Оно может лишь обращаться к нему. Все определения и все точки зрения поглощаются диалогом, вовлекаются в его становление. <...> Твердого, мертвого, законченного, безответного, уже сказавшего свое последнее слово нет в мире Достоевского...» [10, с. 432-433].

Такое диалогическое соотношение разных значений слова дает возможность писателю создавать образы, не сводимые к четко сформулированному семантическому кругу, но представляющие собой своеобразную модель смыслопорождения, сплошь и рядом выводящую автора на многозначно-амбивалентную трактовку того или иного явления или изображаемого человека.

Характерным примером подобного словоупотребления является использование местоимения «наши» в романе «Бесы». Как было отмечено выше, в подразделе 2.3, целый ряд персонажей этого произведения могут быть отнесены к типу «русских иностранцев», потерявших связь с «почвой» и в силу этого формирующих «партию вседозволенности». Слово «наши» используется в речи нарратора-хроникера и поначалу обозначает людей «нашего города», однако постепенно оно все больше привязывается к речевому дискурсу Петра Степановича Верховенского, главного «беса» в романе. Вследствие возникающего диалогического напряжения между двумя концептуальными мирами (жителей губернского города и все более интенсивно проникающих в их сознание идей Верховенского), слово «наши» в речи хроникера, сначала сузившись от общезначимого понятия до круга «заговорщиков», снова расширяется, формируя довольно широкий круг людей, увлеченных так называемыми «новыми идеями», что и приводит к пожару, ужасной гибели

Лизы Тушиной от толпы, смерти Лебядкина и его сестры Марьи Тимофеевны, убийству Шатова, вызывает помешательство и смерть его жены Марьи Игнатьевны и ее ребенка, самоубийство Кириллова, спровоцированное Верховенским [50, т.10, с. 68, 177].

Диалогическое словоупотребление характеризует и такой концепт Ф. Достоевского – чрезвычайно важный для понимания соотношения «русский – иностранец», как «широта русского человека» [50, т.21, с. 124].

Постоянно сосредотачивая свое внимание на «широте» как важнейшем свойстве русского человека, Ф. Достоевский учитывает установку, сложившуюся уже у Пушкина, который писал в «Евгении Онегине»: «Чудак печальный и опасный, / Созданье ада иль небес, / Сей ангел, сей надменный бес, / Что ж он?» [50, т.10, с. 5]. Не случайно и то, что эпиграфом к роману «Бесы» писатель взял именно слова Пушкина: «Хоть убей, следа не видно, / Сбились мы, что делать нам? / В поле бес нас водит, видно, / Да кружит по сторонам...» [50, т.10, с. 5].

Как отмечал Н. А. Бердяев, «Достоевский отражает все противоречия русского духа, всю его антиномичность, допускающую возможность самых противоположных суждений о России и русском народе» [16]. С одной стороны, писатель настойчиво проводит параллели между русским народом и Христом (ср., например, как в романе «Братья Карамазовы» старец Зосима в своих поучениях использует соответствующую библейскую аллюзию: «и воссияет миру народ наш, и скажут все люди: «Камень, который отвергли зиждущие, стал главою угла» [50, т.14, с. 288], а с другой, между русским человеком и чертом. Степан Трофимович Верховенский в «Бесах» запальчиво заявляет: «О, русские должны бы быть истреблены для блага человечества, как вредные паразиты!» [50, т.10, с. 172]; в тетради Крафта «подросток» Аркадий Долгорукий читает: «русские – порода людей второстепенная, на основании френологии, краниологии и даже математики, и что, стало быть, в качестве русского совсем не стоит жить» [50, т.13, с.135], а в «Братьях Карамазовых» черт в разговоре с Иваном Карамазовым говорит о широте даже тех, которые

«акриды едят»: такие бездны веры и неверия могут созерцать в один и тот же момент [50, т.15, с. 80].

Мысль о «широте» русского человека постоянно повторяется практически во всех романах Ф. Достоевского. Интересно, что если в ранних романах она принадлежит персонажам иностранцам, как, например, в «Игроке» мистер Астлей утверждает, что «одни русские могут в себе совмещать, в одно и то же время, столько противоположностей...» [50, т.5, с. 313], то в более поздних романах в таком духе высказываются и сами русские. Так, в «Преступлении и наказании» эта мысль встречается несколько раз, наиболее определенно сформулированная Свидригайловым: «Русские люди вообще широкие люди <...> широкие, как их земля, и чрезвычайно склонны к фантастическому, к беспорядочному...» [50, т.6, с. 378]. Применяется она и в отношении отдельных персонажей, например, Разумихин с удивлением замечает в Раскольникове поочередную смену «двух противоположных характеров» [50, т.6, с. 165], а сам Родион в подобном духе отзывается о Соне: «как этакой позор и такая низость в тебе рядом с другими противоположными и святыми чувствами совмещаются?» [50, т.6, с. 247]. Станислав Мацкевич убежден, что у Ф. Достоевского вся суть русского человека заключается именно в «двойственности, тройственности, многоликости» характера, в «безграничных нравственных противоречиях, которые борются друг с другом внутри человека, которые в душе человека ведут неустанную, яростную битву» [113].

Концепция «многосоставности» русского человека также варьируется и в романе «Идиот», где, в частности, ее высказывает князь Мышкин, рассуждая о том, что когда-то «люди были как-то об одной идее», но теперь могут быть «о двух, о трех идеях зараз», так как, по его мнению, «теперешний человек шире, — и, клянусь, это-то и мешает ему быть таким односоставным человеком, как в тех веках...» [50, т.8, с. 433]. В «Бесах» Шатов говорит Ставрогину: «Правда ли, будто вы уверяли, что не знаете различия в красоте между какою-нибудь сладострастной, зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнью для человечества?» [50, т.10, с. 201]. А Верховенский упрекает

Федьку Каторжного в том, что он одновременно «образа обдирает» и «бога проповедует!» [50, т.10, с. 428]. Антиномии людского духа составляют один из основных предметов размышлений Аркадия Долгорукого в «Подростке»: «я тысячу раз дивился на эту способность человека (и, кажется, русского человека по преимуществу) лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величайшею подлостью, и все совершенно искренно. Широкость ли это особенная в русском человеке, которая его далеко поведет, или просто подлость – вот вопрос!» [50, т.13, с. 307].

Особенно часто и много о «широте» русского человека говорится в «Братьях Карамазовых». Показательная параллель проводится здесь между умонастроением Смердякова и «созерцателем» на картине И. Н. Крамского: «может <...> бросит все и уйдет в Иерусалим, скитаться и спасаться, а может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случится и то, и другое вместе...» [50, т.14, с. 117]. Примечательны в этом отношении и размышления Мити Карамазова: «Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облачается бог мой; пусть я иду в то же самое время вслед за чертом, но я все-таки и твой сын, господи...» [50, т.14, с. 99]; «высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны. <...> Нет, широк человек, слишком даже широк...» [50, т.14, с. 100]. О том же, по сути, говорит и прокурор на суде, возводя карамазовское начало в общерусское: «мы зло и добро в удивительнейшем смешении» [50, т.15, с. 128], «мы природы широкие, карамазовские <...> способные вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного падения. <...> Мы широки, широки, как вся наша матушка Россия, мы все вместим и со всем уживемся!» [50, т.15, с. 129].

Необходимо подчеркнуть, что эта важнейшая мысль находит соответствующее стилистическое выражение, когда и размышления, и

описания строятся на сочетании лексики взаимоисключающих семантических полей. Обратим внимание на следующие описания: «На снурке были два креста, кипарисный и медный, и, кроме того, финифтяный образок; и тут же вместе с ними висел небольшой, замшевый, засаленный кошелек...» – такими деталями описано помещение старухи-процентщицы в «Преступлении и наказании» [50, т.6, с. 64]. Примечательно, что закону божию детей учит беспутный, но добрый пьяница Мармеладов, выступая при этом и философом, прозревающим судьбы мира; такой же пьяница Лебедев в «Идиоте», который «из Священного писания читает и толкует Апокалипсис» [50, т.8, с. 160]. Преступники у Достоевского сплошь и рядом совершают преступления с молитвою на устах. Так, Федька Каторжный в «Бесах», обкрадывая церковь, сначала молится; князь Мышкин рассказывает историю о крестьянине, который зарезал приятеля из-за понравившихся ему часов, перекрестившись и «с горькою молитвой: Господи, прости ради Христа!» [50, т.8, с. 183].

Как отмечает Г. С. Сырица, открытость широкой русской души «двум безднам» выражается, в том числе, в свободе часто абсолютно недифференцированного использования фразеологизмов с компонентом Бог и бранной лексики с компонентом черт в близком контексте [173, с. 44].

Создавая образы иностранцев и «чужеродцев», Ф. Достоевский чаще всего использует комические формы изображения. Н. И. Логинова, рассматривая в своей диссертационной работе «Формы и функции комического в романах Ф. Достоевского», выстраивает классификацию комического в сочинениях писателя и подчеркивает ряд комических образов, которые «переходят из романа в роман», среди которых также отмечен комический тип «иностранца». Исследовательница подчеркивает, что «комическое в романах Достоевского многолико и многогранно, оно представлено в самых неожиданных для трагического произведения видах и формах...», и зачастую граничит с этим трагическим [110].

Например, характерными образами являются в «Бесах» «ничтожный губернатор фон Лембке», «русский немец православного исповедания» с

«несколько бараньим взглядом» и его помощник «несчастный немец» Блюм, бывший «из странного рода «несчастных» немцев», которые «действительно существуют, даже в России, и имеют свой собственный тип» [50, т.10, с. 281]; в «Преступлении и наказании» упоминается увеселявший публику «какой-то пьяный мюнхенский немец вроде паяца, с красным носом, но отчего-то чрезвычайно унылый» [50, т.6, с. 383].

Акцентируется двойственность положения иностранцев в русском обществе в произведениях Достоевского и «смешанными именами этих персонажей». Например, «Адам Иванович Шульц, Федор Карлович Кригер, Миллер, Клуген», Иван Карлович, управляющий князя В. в «Униженных и оскорбленных» [146, с. 99]. В «Преступлении и наказании» это Дарья Францевна, «женщина злонамеренная и полиции многократно известная», через которую и вступила Соня Мармеладова на известный путь (неслучайно в своих размышлениях о судьбе встреченной на улице девочки Раскольников переводит имя сводницы в нарицательное обозначение: «все-таки пронюхают Дарьи Францевны, и начнет шмыгать моя девочка, туда да сюда...») [50, т.6, с. 43]. Это и Амалия Липпехель, настойчиво подчеркивающая свое «русское происхождение»: «не смель говориль мне Амаль Людвиговна; я Амаль Иван!» [50, т.6, с. 141]. Интересно, что Мармеладов время от времени именуется еще и Амалией Федоровной [цит. по: 36].

Этим Ф. Достоевский подчеркивает «фальшивую русскость» представителей иной страны, «символизируя <...> их разорванное состояние», так как «немцы даже на русской почве не забывали родину» [88], и в то же время были вынуждены ассимилироваться в русском обществе. По мнению В. П. Владимирцева, стилистический прием совмещения разнонациональных имени-отчества служит у Ф. Достоевского выражению мысли о том, что «внешнее обрусение, игровая народно-лингвистическая русификация имени-отчества <...> лишь подчеркнули и осмеяли претензии „чужого“ на фальшивую русскость» [30, с. 67].

С глубоким сарказмом описывает Ф. Достоевский в «Игроке» «мошенника и ростовщика» «французика» маркизе Де-Грие и mademoiselle Бланше, «глупую вертушку француженку». С иронией нарратор отмечает, что «тон француза со всеми нами необыкновенно высокомерный и небрежный», «французик тонировал необыкновенно; он со всеми небрежен и важен. А в Москве, я помню, пускал мыльные пузыри» [50, т.5, с. 210]. В сходных выражениях описываются французы и в «Зимних заметках о летних впечатлениях», где Достоевский отмечает «удивительно благородный вид», свойственный французам, «отпечаток на лице того необыкновенного благородства, которое до нахальства бросается вам в глаза во всех французах» [50, т.5, с. 84], самовлюбленность: «никогда не разуверишь в том, что он не первый человек на всем земном шаре» [50, т.5, с. 85].

Что касается сравнительных особенностей представителей «русских скитальцев» в публицистических и художественных произведениях Ф. Достоевского, то тут можно отметить определенную закономерность. В публицистике, в частности, в речи о Пушкине и в цикле предыдущих статей в «Дневнике писателя», Ф. Достоевский говорит о них с трагической серьезностью. В художественных же произведениях писатель, как правило, едко иронизирует над ними. Уже в «Записках из подполья» их субъект предстает в ироническом свете как явно сниженный вариант героя байронического типа. Его развенчание продолжается в «Игроке». Нарратор романа, Алексей Иванович, как и «подпольный человек», демонстрирует широту и остроту сознания, которые служат предметом жесткой иронии автора. В судьбе и жизненной позиции Алексея Ивановича бросается в глаза, в первую очередь, его «беспочвенность» [50, т.25, с. 401]. Много иронии и в романе «Подросток», особенно по отношению к одному из самых характерных «русских иностранцев» в галерее Ф. Достоевского – Версиллову. Интересно сопоставить то, как он сам вполне серьезно говорит о своих странствиях по Европе, и то, как их представляет, уже явно иронически, старый князь

Сокольский, рассказывая Аркадию Долгорукому, что Версилов в Европе «носил вериги», что он «там в католичество перешел» [50, т.13, с. 31].

Примечательно, что в «Бесах» ирония Ф. Достоевского распространяется как на «иностранцев русских», так и на «русских иностранцев». Жестко иронически описываются как губернатор фон Лембке, представляющий первый тип, так и старший Верховенский – образец второго типа. В описании последнего иронический тон задается с самого начала повествования: «Степан Трофимович постоянно играл между нами некоторую особую и, так сказать, гражданскую роль и любил эту роль до страсти.<...> Не то чтоб уж я его приравнивал к актеру на театре: сохрани боже, тем более что сам его уважаю. Тут всё могло быть делом привычки, или, лучше сказать, непрерывной и благородной склонности, с детских лет, к приятной мечте о красивой гражданской своей постановке <...> чрезвычайно любил свое положение „гонимого“ и, так сказать, „ссылного“. В этих обоих словечках есть своего рода классический блеск, соблазнивший его раз навсегда, и, возвышая его потом постепенно в собственном мнении <...> довел его наконец до некоторого весьма высокого и приятного для самолюбия пьедестала...» [50, т.10, с. 7]. В подобном же тоне хроникер говорит и о фон Лембке: «Андрей Антонович фон Лембке принадлежал к тому фаворизованному (природой) племени, которого в России числится по календарю несколько сот тысяч и которое, может, и само не знает, что составляет в ней всю свою массу один строго организованный союз. И уж, разумеется, союз не предумышленный и не выдуманный, а существующий в целом племени сам по себе...» [50, т.10, с. 241].

В соотношении ангельского и дьявольского в человеке весьма значимым является тот факт, что дьявол (у Достоевского чаще обозначенный как «черт») предстает в некоем комплексе «западных» черт, при том, что в ироническом его описании – например, в «Братьях Карамазовых», как он выступает в представлении Ивана Карамазова, акцентировано «русское начало», но с явной примесью иностранного – «известного сорта русский джентльмен» [50, т.14,



с. 70]. При этом актуально мнение Вячеслава Иванова, что Достоевский «не одною мерою мерит <...> восточный и западный мир...» [66, с. 330].

Черт явно объединяет в своем облике черты «своего» и «чужого», выражая, таким образом, существенный для Ф. Достоевского концепт «русский – иностранец». То, что это именно «джентльмен», т.е. человек с ярко выраженным элементом английской национальной идентичности, но разговаривающий на русском с интенсивными вкраплениями французского, должно указывать, в первую очередь, на некую синтетичность или гибридность, а, с другой стороны, выражает наличие определенной законченной формы, что было характерно, как неоднократно подчеркивал Ф. Достоевский, для человека западного образца. Иронический смысл указания «известного сорта русский джентльмен» раскрывается, как подчеркивает Г. С. Сырица, в системе противопоставлений, указывающих, с одной стороны, на установку «господина» производить впечатление своей внешностью (иностранное начало), с другой – на невозможность этого (русское начало). В формировании «семантики двойственности, неопределенности», по мнению исследовательницы, обязательно принимает участие целая система оппозиций: «джентльмен – приживальщик; господин – лакей, шут; вдовец (был женат) – холостяк (не был женат); русский – англичанин (француз)...» [173, с. 71-72].

Также Г. С. Сырица отмечает, что при описании черта у Ф. Достоевского используется множество «портретных деталей», указывающих на «чужое, нерусское, иностранное». Это и неоднократные включения в портретное описание французского языка («лет уже не молодых, „qui frisait la cinquantaine”, как говорят французы», т.е. «под пятьдесят») [173, с. 76], и высказывания черта на французском языке, а также присутствие топонимов Вена, Париж, Милан в его рассуждениях о докторах: «тебя шлют в Париж, приедешь в Париж; поезжайте после меня в Вену; в Милан написал...» [50, т.15, с. 76].

В своей монографии «Поэтика портрета в романах Ф. М. Достоевского» Галина Стефановна Сырица делает заключение, что неоднократное использование лексики, акцентирующей внимание на «нерусском, западном

начале черта» в романе «Братья Карамазовы» обусловлено, прежде всего, мнением Ф. Достоевского, что в «западном человеке форма преобладает над содержанием, а внешний и внутренний человек живут своей обособленной жизнью» [173, с. 76]. Характерны следующие замечания из романа «Игрок»: «Это только у французов и <...> у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. Оттого так много форма у них и значит» [50, т.5, с. 230]. Несколько позже в споре о преимущественных национальных чертах Алексей Иванович явно запальчиво и категорично пытается доказать англичанину мистеру Астлею, что «француз» обладает «законченной, красивой формой» и «барышня принимает эту форму за его собственную душу, за натуральную форму его души и сердца, а не за одежду, доставшуюся ему по наследству...» [50, т.5, с. 316]. Если в данном случае утрированные характеристики французов следует списывать на речь персонажа, то в «Зимних заметках о летних впечатлениях» похожие и даже еще более несправедливые оценки принадлежат уже самому Ф. Достоевскому, указывающему на то, что «все французы имеют удивительно благородный вид. У самого подлого французика <...> даже в ту самую минуту, как он вам продает своего отца, такая внушительная осанка, что на вас даже нападает недоумение...» [50, т.5, с. 76]; «с отпечатком на лице того необыкновенного благородства, которое до нахальства бросается вам в глаза во всех французах...» [50, т.5, с. 84].

Особенным средством характеристики русских персонажей, оторвавшихся от родной «почвы», является уподобление их иностранцам, в частности, неким известным личностям, представителям той или иной национальности. Особенно часто в таком контексте употребляются имена Шиллера (почти во всех романах) и Наполеона. В последнем случае, кроме прямого соотнесения с французским императором, автор использует определенные детали предметно-художественной изобразительности, в частности, портретные детали. Так, эпитет наполеоновская в описании бородки Гани Иволгина из романа «Идиот» («с маленькою, наполеоновскою бородкой») устанавливает семантику

уподобления и сходств, соотносясь с именем собственным Наполеона Бонапарта, которое через соответствующие упоминания в других произведениях включается в целую систему многообразных повторов и расширяет свой смысл до символа, что особенно очевидно в романе «Преступление и наказание» [50, т.8, с. 21]. Сравнения с Наполеоном используют тут разные персонажи: Раскольников («Магометом иль Наполеоном я себя не считаю...»); Порфирий Петрович: «кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?»; Заметов: «Уж не Наполеон ли какой будущий и нашу Алену Ивановну на прошлой неделе топором уколошил!» [50, т.6, с. 204]. Безусловно, интертекстуальным источником в данном случае является известная строчка Пушкина: «Мы все глядим в Наполеоны». В результате имя Наполеона ассоциируется с безграничной земной властью, величием и индивидуализмом, перерастающим во вседозволенность: «Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил...» [50, т.6, с. 318]; «что если бы, например, на моем месте случился Наполеон» [50, т.6, с. 319]; «Уж если я столько дней промучился: пошел бы Наполеон или нет? – так ведь уж ясно чувствовал, что я не Наполеон...» [50, т.6, с. 321]. Интересно, что почти сразу после этих реплик Раскольникова, в разговоре с Соней Мармеладовой он связывает убийство с действием дьявольской силы: «А старушонку эту черт убил, а не я..» [50, т.6, с. 322]. Другими словами, Наполеон и черт становятся у Ф. Достоевского субститутами.

Еще одно стилистическое средство обрисовки «русских иностранцев» – использование иноязычных вкраплений в их речь. Например, в главе девятой 2-й части «Бесов» («Степана Трофимовича описали») Степан Трофимович Верховенский говорит по-русски, но вовлекает в свой монолог до половины французских слов – в тексте романа на с. 328-й [50, т.10] приводится 13 сносок с переводами с французского.

Знание французского языка отражает претензию героев на принадлежность к высшему свету и неизменно является средством их иронического осмысления. В «Бесах» в роли «разоблачителя» ложных устремлений

выступает Хромоножка: «ах, по-французски, по-французски! Сейчас видно, что высший свет – хлопнула в ладоши Марья Тимофеевна, в упоении приготавливаясь послушать разговор по-французски» (в гостиной Варвары Петровны) [50, т.10, с. 127]. Деталь «хлопнула в ладоши» получает коннотации, связанные с указанием на театральное (не серьезное, трагикомическое) представление. В «Братьях Карамазовых» коннотативный фон слова французский определяется репликой старца Зосимы в его рассказе о его юности в Петербурге: «Лоск учтивости и светского обращения вместе с французским языком приобрел...» [50, т.14, с. 268].

О Степане Трофимовиче Верховенском сказано, что он «по-французски говорил, как парижанин», «да и манеры его были самые изящные» [50, т.10, с. 16], его речь едва ли не наполовину состоит из французских слов. К французскому языку часто прибегает и Версиков: «Тут вы вдруг заговорили с Татьяной Павловной по-французски...» – говорит Аркадий [50, т.13, с. 95]. Внешнее изящество и лоск, искусственность его «сделанной» внешности акцентируются при помощи определений «парижский», «французский»: отмечается «парижский пробор волос», «его французский выговор, именно французский» [50, т.13, с. 12].

Маску иностранца примеряет на себя и Митя Карамазов, когда говорит о своем планируемом побеге в Америку: «В эти три года аглицкому языку научимся как самые что ни на есть англичане» [50, т.15, с. 186]. Интересная деталь встречается в рассказе Мити о том, как он вручал «пятитысячный пятипроцентный безымянный билет» Катерине Ивановне Хохлаковой: «в лексиконе французском лежал у меня» [50, т.14, с. 106].

Иронический оттенок в описании иностранцев и «русских иностранцев» создается с помощью использования уменьшительно-ласкательных слов. Так, в описании внешности писателя Кармазинова в «Бесах» включаются такие детали, как «запоночки, воротнички, пуговики, черепаховый лорнет на черной тоненькой ленточке, перстенок» [50, т.10, с. 71]. Интересно, что деталь «черепаховый лорнет» будет повторена в описании черта в «Братьях

Карамазовых», а «запоночки» Карамзинова соотносятся с «золотыми запонками» Федора Павловича Карамазова [50, т.15, с. 71].

«Нерусскость» в описаниях многих персонажей Ф. Достоевского подчеркивается и путем использования таких языковых элементов, как частицы. Так, Федор Павлович Карамазов, представляя своих сыновей как Карл Мор и Франц Мор, себя называет *Regierender von Moog*. Обращаясь к своему постоянному спутнику в кутежах, помещику Максимову, Федор Павлович называет его «фон Зон», используя эту же частицу с именем, которое с немецкого (*Sohn*) переводится как «сын»: «Так ли, фон Зон? Вот и фон Зон стоит, Здравствуй, фон Зон. <...> Не отцу же игумену быть фон Зоном! – Да ведь и я не фон Зон, я Максимов. – Нет, ты фон Зон. <...> Так вот это тот самый фон Зон и есть. Он из мертвых воскрес, так ли, фон Зон?; Так ли, фон Зон?; Ну не говорил ли я <...> что это фон Зон! <...> Что ты там нафонзонил такого <...> Полежишь, фон Зон? Прыгай на облучок, фон Зон» [50, т.14, с. 81,82,84]. Учитывая и общий контекст действий этих персонажей, можем утверждать, что Максимов выступает еще одним сыном, уже духовным, отца Карамазова. Сближение его, в частности, и с Иваном происходит за счет единообразного повторяющегося обращения Федора Павловича к Ивану «сын мой» (а также «почтительнейший Карл фон Мор»), а к Максимову «фон Зон». В «Бесах» применительно к губернатору фон Лембке частица «фон» призвана указать не только на дворянское происхождение, но, и преследует цель иронического снижения персонажа: «Оказалось тоже, что он уже не „Лембка“, а фон Лембке...» [50, т.10, с. 242].

Языковые средства, применяющиеся при построении оппозиции «свой – чужой» у Ф. Достоевского, для передачи контраста, могут быть различных «уровней». К примеру, лексическими: «французишки», «французик» [50, т.5, с. 76, 243], «немчура», «немчурка» [50, т.13, с. 434], «жиды и жиденята», «чухна» [50, т.14, с. 374, 502]; выражаться через модель наречие-относительно-притяжательное прилагательное: (чисто – абсолютный признак, типично – постоянный): чисто немецкий виц, чисто русская красота, ругаться чисто по-

русски, типично английский склад ума, радостно-самодовольное немецкое остроумие, «ужасно любопытный народ» [50, т.14, с. 106, 136].

Для более глубокого контраста между образами русских и иностранцев, в том числе «русских иностранцев», Ф. Достоевский часто использует соответствующие эпитеты: о русских – «добрая русская улыбка», «русское-то сердце», «чистый этакий русский человек», «развитое русское сердце» [50, т.13, с. 166], «благодушный русский характер», «чистая русская душа», «добродушная русская душа», «величавый русский образ», «всечеловечная и воссоединяющая русская душа» [50, т.6, с. 138, 142, 210,]; об иностранцах – «вековечная брюзгливая скорбь» [50, т.6, с. 394], «жидовские, вредные и грязные руки», «потерянные французы» [50, т.13, с. 76, 418], «высший еврей», прочие «мелкие евреи» [50, т.25, с. 69, 75], «дух ихнего колбаснического раболепства» [50, т.14, с. 502], «несчастливые немцы» [50, т.10, с. 281] и т.д.

Важной особенностью характеристики «русских иностранцев» у Достоевского является насыщение их речи своеобразными идеологемами, приобретающими нередко мифологическое значение. Возникают они на почве широкого использования соответствующей общественно-политической лексики, а также придания неким реально отсутствующим идеологическим сущностям особого универсального смысла. Так, в «Бесах» хроникер, описывая деятельность «наших» во главе с Петром Степановичем Верховенским, отмечает, что «все зависят от какого-то центрального, огромного, но тайного места, которое в свою очередь связано органически с европейскою всемирною революцией» [50, т.10, с. 303]. Несомненно, ничего подобного в то время не существовало. Аналогичный идеологический миф возникает в речах Липутина о «всемирно-человеческом языке»: «это со всемирно-человеческого языка будет перевод-с, а не с одного только французского! С языка всемирно-человеческой социальной республики и гармонии, вот что-с!» [50, т.10, с. 45]. Знаменательно, что Николай Всеволодович Ставрогин саркастически отвечает на эти речи репликой: «Фу, черт, да такого и языка совсем нет! – продолжал смеяться Nicolas...» [50, т.10, с. 45].

«Русские иностранцы», по убеждению Ф. Достоевского, «оторвавшись от корней», не знают реалий российской жизни, но все время рассуждают о «нуждах народа», необходимости «менять условия», формировать «новую среду» и т.п. [50, т.10, с. 73-74]. Используемая при этом общественно-политическая лексика приобретает, благодаря умелому подбору нарратора-хроникера, сатирически-язвительный оттенок – ср., например, как взаимоотражаемо характеризуются в его речи «главный бес» Петр Верховенский и «великий писатель-либерал» Кармазинов: «молодой человек, наконец, догадался, что тот если и не считал его коноводом всего тайно-революционного в целой России, то, по крайней мере, одним из самых посвященных в секреты русской революции и имеющим неоспоримое влияние на молодежь....» [50, т.10, с. 234].

Такая мифологизация определенных мифологем при видимой нейтральности повествователя-хроникера на самом деле получает отрицательную оценку через введение разнообразных стилистических средств. Одним из них являются нарраторские ремарки в виде вставных конструкций – так, к примеру, дискредитируется позиция Степана Трофимовича Верховенского, акцентируя «чужеродность» идей, приносимых, на взгляд нарратора (и, очевидно, в данном случае, и автора на русскую «почву»: «Их пленяет не реализм, а чувствительная, идеальная сторона социализма, так сказать, религиозный оттенок его, поэзия его <...> с чужого голоса, разумеется!») (выделено нами. – И.М.) [50, т.10, с. 63].

Еще одним средством передачи чужеродности коммунистически-интернациональных идей русскому началу становится использование иноязычных вкраплений, написание некоторых слов латиницей – например, слово «Internationale» в речи Петра Верховенского, обращенной к Ставрогину: «Уверяю вас, что между рабочими иные об Internationale имеют понятие....» [50, т.10, с. 180].

Такую же функцию выполняет закавычивание некоторых выражений – к примеру, в объяснении Виргинским своего «семейного скандала»: «Это ничего,

это только частный случай; это нисколько, нисколько не мешает „общему делу”» [50, т.10, с. 30]; или в дискурсе повествователя о Степане Трофимовиче: «он раза по три и по четыре в год регулярно впадал в так называемую между нами „гражданскую скорбь”, то есть просто в хандру, но словечко это нравилось многоуважаемой Варваре Петровне. Впоследствии, кроме гражданской скорби, он стал впадать и в шампанское...» [50, т.10, с. 12]. В речи самого Степана Трофимовича новейшая общественно-политическая лексика и, соответственно, идеи, стоящие за ней, получают через ироническое освещение отрицательный смысл: например, когда Степан Трофимович с пафосом говорит Варваре Петровне: «Да, я вас обедал; я говорю языком нигилизма: но обежать никогда не было высшим принципом моих поступков...» [50, т.10, с. 286]. Как и в приведенном выше примере, здесь очевидна авторская ирония.

Система идентифицирующих особенностей, различающая «своих» и «чужих», охватывает и такой параметр как «внешность». При этом в портретных описаниях находит отражение раздвоенности внутреннего мира героев, пораженных «отщепенством», греховностью, бесовщиной. Наиболее показательный пример – описание черта в «Братьях Карамазовых», в котором четыре раза использована синтаксическая конструкция с союзом «но»: «пиджак, очевидно, от лучшего портного, но уже поношенный»; «все было так, как и у всех шикаватых джентльменов, но белье <...> было грязновато»; «панталоны гостя сидели превосходно, но были опять-таки слишком светлы и как-то слишком узки»; «часов на нем не было, но был черепаховый лорнет» [50, т.15, с. 70].

Ф. Достоевский во всех своих произведениях пытается выделить «уничижительные особенности» внешнего облика и манеры поведения персонажей из иностранцев. Например, явно отталкивающей предстает внешность барона Вурмергельма из романа «Подросток»: «ноги у него начинаются чуть ли не с самой груди; это, значит, порода. Горд, как павлин. Мешковат немного. Что-то баранье в выражении лица, по-своему заменяющее глубокомыслие...» [50, т.5, с. 234]. В том же стиле выдержано описание Блюма,



«чрезвычайно неуклюжего и угрюмого немца», который был «аккуратен, но как-то слишком, без нужды и во вред себе, мрачен; рыжий, высокий, сгорбленный, унылый...» [50, т.10, с. 281]. В романе «Идиот» также описан «литератор-поэт, из немцев»: «...счастливой наружности, хотя почему-то несколько отвратительной» [50, т.8, с. 444].

Напротив, описание внешности русских людей, особенно из народа, у Ф. Достоевского очень отличается от изображения иноземцев и «русских иностранцев»: «Грушенька – «добрая, милая женщина, положим, красивая, но так похожая на всех других красивых, но „обыкновенных“ женщин! <...> хороша она была очень, очень даже, – русская красота, так многими до страсти любимая...» [50, т.8, с. 133]. Под стать Грушеньке и Антонида Васильевна Тарасевичева в «Игроке» – «грозная и богатая», «бойкая, задорная, самодовольная», «повелительная и властительная наружность» которой всегда «была причиной главного эффекта»; «бабушка была из крупной породы, и хотя и не вставала с кресел, но предчувствовалось, глядя на нее, что она весьма высокого роста. Спина ее держалась прямо, как доска, и не опиралась на кресло. Седая, большая ее голова, с крупными и резкими чертами лица, держалась вверх; глядела она как-то даже заносчиво и с вызовом; и видно было, что взгляд и жесты ее совершенно натуральны...» [50, т.5, с. 252].

Интересно, что в портретных описаниях многих «русских иностранцев» из различных романов Ф. Достоевского используются почти совпадающие отрывки, в которых акцентируется «нерусскость» одежды, а через это и оторванность от родной «почвы»: – так вводятся, к примеру, князь Мышкин в «Идиоте» и Кармазинов в «Бесах», ср.: «На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь как употребляют часто дорожные, по зимам, где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии или, например, в Северной Италии. <...> На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами, – все не по-русски...» [50, т.8, с. 6]; «в каком-то плаще внакидку, какой, например, носили бы в этот сезон где-нибудь в Швейцарии или в Северной Италии...» [50, т.10, с. 70]. В дальнейшем

хроникер неоднократно будет иронически отмечать «нерусские» детали внешности «великого писателя» Кармазинова: «летом он ходит непременно в каких-нибудь цветных прюнелевых ботиночках с перламутровыми пуговками сбоку...» [50, т.10, с. 71]. Интересны в этом отношении совпадающие детали внешности двух, казалось бы, весьма разных по характеру и жизненной позиции персонажей Ф. Достоевского.

Из синтаксических средств характеристики персонажей иностранцев или отвечающих типу «русский иностранец», наиболее предпочтительными у Ф. Достоевского являются повторы. При этом нагнетание повторов характерно как для публицистического, так и для собственно художественного дискурсов Ф. Достоевского. Ср. в «Зимних заметках о летних впечатлениях»: «Теперь уж народ нас совсем за иностранцев считает, ни одного слова нашего, ни одной книги нашей, ни одной мысли нашей не понимает. <...> Теперь уж мы до того глубоко презираем народ и начала народные, что даже относимся к нему с какою-то новою, небывалою брезгливостью. <...> Зато как же мы теперь самоуверенны в своем цивилизаторском призвании, как свысока решаем вопросы. <...> Зато как мы спокойны, величаво спокойны теперь, потому что ни в чем не сомневаемся и все разрешили...» [50, т.5, с. 59] (повторяются конструкции «ни одного», «зато», «теперь уж») и в «Братьях Карамазовых», в частности, в речи Ивана Карамазова, обращенной к Алеше: «И если бы хоть один такой очутился во главе всей этой армии, «жаждущей власти для одних только грязных благ», то неужели же не довольно хоть одного такого, чтобы вышла трагедия? Мало того: довольно и одного такого, стоящего во главе, чтобы нашлась, наконец, настоящая руководящая идея всего римского дела со всеми его армиями и иезуитами, высшая идея этого дела. Я тебе прямо говорю, что я твердо верую, что этот единый человек и не оскудевал никогда между стоящими во главе движения. Кто знает, может быть, случались и между римскими первосвященниками эти единые. Кто знает, может быть, этот проклятый старик, столь упорно и столь по-своему любящий человечество, существует и теперь в виде целого сонма многих таковых единых стариков и не

случайно вовсе, а существует как согласие, как тайный союз, давно уже устроенный для хранения тайны, для хранения ее от несчастных и малосильных людей, с тем, чтобы сделать их счастливыми...» [50, т.14, с. 238-239].

Повтор у Ф. Достоевского часто сочетается с усилением, сопровождаемым «многозначительностью и эмоциональным акцентом», с которым, например, Версилов в «Подростке» произносит слова: «Есть, Макар Иванович, – вдруг подтвердил Версилов, – есть такие и должны быть они» [50, т.13, с. 302].

Таким образом, анализируя произведения Ф. Достоевского, мы можем заметить, что, используя разнообразные художественно-речевые средства, всевозможные приемы выразительности от эпитетов и сравнений до иронии и сарказма, писатель создает исключительные характеры с присущим им национальным колоритом.

#### **4.2. Нарративные принципы создания образов иностранцев в художественной прозе и в публицистике Ф. Достоевского**

Помимо рассмотренных выше особенностей изображения иностранцев в произведениях Ф. М. Достоевского, важным является и нарративный ракурс такого изображения. Восприятие иностранца в значительной степени может зависеть от места и роли в повествовательной структуре произведения нарратора либо персонажа, чьими глазами увидена такая фигура. Этот аспект исследователи обычно не принимают во внимание или ограничиваются отдельными замечаниями. Поэтому мы и стремимся в данном подразделе диссертации учесть особенности нарративных стратегий Ф. Достоевского, в частности, роль повествователя в его произведениях и повествовательные точки зрения в изображении иностранцев.

Важность нарратологического подхода к рассмотрению интересующей нас проблемы заключается также в том, что в контексте собственно идеологического значения оппозиции «свой – чужой» следует также учитывать такую ее составляющую, как соотношение авторской и чужой речи в

нарративной структуре текста. Разнообразные формы интерференции и диффузии «своего» и «чужого» как взаимодействия авторской и чужой речи, в значительной степени благодаря известным идеям М. М. Бахтина, в настоящее время являются существенным аспектом нарратологического изучения литературного текста.

Кроме того, в контексте изучаемой проблемы нарратологический подход дает возможность выявить на самом деле сложность и неоднозначность авторской позиции, в отличие от категоричности и утрированности многих «прямых» высказываний Ф. Достоевского.

Как известно, сущность и формы выявления авторской позиции в произведениях Ф. Достоевского составляют существенный предмет полемики в достоевковедении. Некоторые исследователи придерживаются концепции «исчезновения» автора у Ф. Достоевского. К примеру, В. А. Туниманов объяснял «стратегией авторского самоустранения» обращение писателя к герою-хроникеру, так как автор «колеблется, оказывается способен на ошибки, и чем ближе к концу повествования, тем сильнее авторская неуверенность» [цит. по: 83, с. 168].

Другие ученые, напротив, говорят о стремлении Ф. Достоевского к определенности, хотя и завуалированной, своей позиции. Так, Л. М. Розенблюм подчеркивает «публицистичность» художественных произведений писателя, начиная с 1860-х гг. [153, с. 228], что означает вовсе «не устранение автора из художественного текста», а применение его для «внушения» читателю определенных представлений. Вместе с тем, исследовательница, по словам О. А. Ковалева, была сторонницей «диалогической модели организации» как произведений Достоевского, так и его картины мира в целом [83, с. 173].

Влияние на читателя, безусловно, было очень существенным для Ф. Достоевского, но все же главным для него является метод «непрямого» воздействия на читателя, который современные исследователи чаще всего выявляют у Ф. Достоевского, подчеркивая, что специфическое значение при этом имеет «форма повествования», т.е. нарративная стратегия автора [83,

с. 169]. Так, К. А. Степанян, исследуя проблему значимой роли образа хроникера в романе «Бесы», отмечает, что «авторская позиция не отражается непосредственно через его высказывания, но именно роль повествователя в структуре целого и определяет восприятие идейного содержания романа читателем» [171, с. 130].

Даже в «Дневнике писателя», по мнению О. В. Коротковой, позиция автора лишена той однозначности, которая обычно свойственна публицистическим текстам, так как субъект «Дневника писателя» совмещает «различные мировоззренческие позиции» [цит. по: 83, с. 173].

В связи с выше сказанным представляется, что рассмотрение нарративных аспектов организации текста, в частности, столкновение в нем различных точек зрения на ту или иную проблему, поможет пролить свет на истинную сущность авторской позиции в разных по своей художественно-эстетической природе произведениях Ф. Достоевского.

Точка зрения в нарратологическом смысле – это совокупность условий, влияющих на восприятие и передачу повествуемых «событий», пишет В. Шмид [196, с. 121]. Принято считать, что нарратор может занимать либо собственную позицию, условно стоя вне излагаемых событий, либо принимать позицию персонажа, как бы входя в его внутренний мир. Особенно важна в нашем случае позиция «автора» (тут и далее кавычки для слова автор означают его использование в качестве нарратологического термина). Понятие это в нарратологии относится не к повествователю и не к реальной исторической личности, создавшей произведение. Не является «автор» также «инстанцией, отправляющей сообщение» [196, с. 56], поэтому не удивительно, что в нарратологии его определяют как «абстрактного автора» [196, с. 48-57, с. 76-77]. Это последнее понятие, казалось бы, строго выверено нарратологами, и все же оно уязвимо, ведь даже это, «абстрактное» авторство проявляется в том, что придает конечную смысловую установку всему в произведении, от него зависит «изображаемость нарратора, его текста и выражаемых в нем значений» [196, с. 56]. Это означает, что «автор» («абстрактный автор») – понятие, которое не

может не выходить за рамки ограничений, налагаемых нарратологической установкой на изучение повествования как такового.

В нашем случае, то есть, по отношению к Ф. Достоевскому, это важно потому, что «автор» проявляет себя и в прямых высказываниях в качестве реально-биографического лица (в таких, например, текстах, как «Дневник писателя»), и как «автор» вымышленных произведений, где он ощутим в плане его «эстетико-метафизических воззрений» [183, с. 239]. Все «иностранное» для Достоевского-«автора», как и для всякого автора, может обладать определенной социально-бытовой характерностью, но в контексте «почвеннических» идей писателя, оформившихся, как уже отмечалось, примерно к началу 60-х годов XIX века, «иностранное» становится у него еще и идеологически значимым признаком.

В подразделе 2.2. нами рассмотрены образы условных иностранцев, в изображении которых нет детальной характеристики, а национальное начало в его идеологическом значении не выделено. Иной художественно-функциональный смысл имеют образы иностранцев в романе «Игрок». В подходе к ним повествователь подчеркнуто идеологичен. Заметим, что идеологическая точка зрения в нарратологии имеет особый статус: само ее выделение из числа других повествовательных точек зрения может казаться проблематичным. В. Шмид справедливо отмечает, что препятствует этому многоаспектность понятия «идеологическое» и трудность его отделения от других точек зрения [196, с. 123-124]. Но, в принципе, возможность существования прямых экспликаций идей (ценностей) все же допустима, и они как бы независимы от языковой, пространственно-временной повествовательных точек зрения. Как раз такой случай и можно отметить в романе «Игрок».

Алексей Иванович в этом романе – диегетический нарратор, то есть выступает и в роли повествующего «я», и в роли персонажа, о котором ведется повествование. Обычно такой нарратор ограничен в своем знании [196, с. 95], но именно его глазами даны иностранцы (немцы) в подчеркнуто

идеологическом плане. Когда он «за обедом» в гостинице, в кругу своих знакомых, но с оглядкой на всех участников табльдота, которые относятся к разным национальностям, говорит о «немецком способе накопления богатств», то стремится представить очень общую категорию – «катехизис добродетелей и достоинств цивилизованного западного человека» [50, т.5, с. 255], как он выразился. При таком широком обобщении «немца» в его высказывании правильно считать иностранцем вообще («немым», то есть не говорящим по-русски). При этом Алексей Иванович еще и не хочет, чтобы его слова воспринимались как чисто субъективное обобщение и ссылается на опыт, собственный опыт, достоверность которого не берется окружающими под сомнение потому, что они, как можно понять из контекста, принимают Алексея Ивановича за человека своего круга, которому незачем лгать. Всякая немецкая семья, утверждает он, «в полнейшем рабстве и повиновении у фатера. Все работают, как волы, и все копят деньги, как жида. Положим, фатер скопил уже столько-то гульденов и рассчитывает на старшего сына, чтобы ему ремесло аль землишку передать; для этого дочери приданого не дают, и она остается в девках. Для этого же младшего сына продают в кабалу аль в солдаты и деньги приобщают к домашнему капиталу. Право, это здесь делается; я расспрашивал. Всё это делается не иначе, как от честности, от усиленной честности, до того, что и младший проданный сын верует, что его не иначе, как от честности, продали, – а уж это идеал, когда сама жертва радуется, что ее на закланье ведут. Ей-богу, не хочу таких добродетелей!» [50, т.5, с. 277].

Достоевский-«автор» почти в таком же тоне говорит о преобладании миропонимания собственников в Европе. Лавочники-собственники, по его словам, уже достигли почти полного господства в обществе, а рабочие и крестьяне – те же «собственники в душе» [50, т.5, с. 83]. Но в «Игроке» идеологическая значимость всего сказанного Алексеем Ивановичем ставится («автором») еще и в прямую зависимость от внутренних мотивов человека, произносящего все эти рассуждения. Нарратор (Алексей Иванович) с первых же страниц романа прямо указывает на первостепенную важность для него

любовных отношений с Полиной, с которой ему, как он говорит, «надо объясниться. Много накопилось...» [50, т.5, с. 297]. Во время обеда, когда происходил приведенный выше разговор, Алексей Иванович «изредка взглядывал на Полину», но она «совершенно не примечала меня. Кончилось тем, что я разозлился и решился грубить». Именно поэтому он и «ввязывается в чужой разговор», о цели которого тоже говорит вполне определенно: «Мне, главное, хотелось поругаться с французиком» [50, т.5, с. 215], то есть с Де-Грие, в котором он подозревает любовника Полины («думал, что он давно сватается» к Полине) [50, т.5, с. 216].

Снимает ли все это идеологическую значимость слов Алексея Ивановича? В его идеологическом поле – да. Но какова же тут роль Достоевского-«автора»? Она может быть понята таким образом: «автор» все делает для того, чтобы уклониться от подчеркивания собственно идеологической значимости произнесенного Алексеем Ивановичем, но вместе с тем, идеи эти как бы повисают без ценностной поддержки нарратора, изолируются в тексте и тем самым становятся более заметными. В этом и сказывается роль «автора», а на нарратологическом уровне – в этом процессе проявляется общая тенденция диегетического рассказа к перерастанию в рассказ недиегетический [196, с. 95], или, другими словами, таким образом возрастает роль всеведущего недиегетического нарратора, всеведение которого сродни знанию «автора» о мире произведения.

Приведем еще примеры того, как Достоевский-«автор» уклоняется от придания прямой значимости важным для него идеологическим положениям. В романе «Идиот» Евгений Павлович Радомский говорит о русской национальной специфике, и делает это с оглядкой на национальную природу европейских народов, так что все иностранное выступает в этом случае как точка отсчета. Так, Евгений Павлович заявляет, что в русской литературе только Ломоносову, Пушкину и Гоголю «удалось сказать каждому нечто действительно свое, свое собственное, ни у кого не заимствованное» и «тем самым эти трое и стали тотчас национальными. Кто из русских людей скажет, напишет или сделает



что-нибудь свое, свое неотъемлемое и незаимствованное, тот неминуемо становится национальным, хотя бы он и по-русски плохо говорил. Это для меня аксиома» [50, т.8, с. 459]. Для Достоевского-«автора» это тоже аксиома, он тоже в «Дневнике писателя» за 1877 год говорил о необходимости «стать русскими во-первых и прежде всего. Если общечеловечность есть идея национальная русская, то, прежде всего, надо каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого шагу всё изменится...» [50, т.25, с. 21].

Сказано почти то же самое (а по сути, то же самое, если учесть все высказывания Ф. Достоевского в «Дневнике писателя» на эту тему), однако мотивы произнесения этих слов Радомским таковы, что они могут быть полностью обесценены. Нарратора, Евгения Павловича «выдавал» его тон: говорил он «как будто с необыкновенным увлечением и жаром и в то же время, чуть не смеясь, может быть, над своими же собственными словами» [50, т.8, с. 277]. Волей «автора» (а он тот, кто «изображает» нарратора) тут задано сложное соотношение между его собственными словами, словами персонажа и корректирующим комментарием нарратора.

Такого же плана идеологические высказывания постоянно подчеркиваются в романе «Бесы». Так, Шатов упрекает русских либералов за то, что они «просмотрели» свой народ: вы, говорит он, «с омерзительным презрением к нему относились, уж по тому одному, что под народом вы воображали себе один только французский народ, да и то одних парижан, и стыдились, что русский народ не таков. И это голая правда! А у кого нет народа, у того нет и бога!» [50, т.10, с. 327].

Почти то же самое говорит и «автор» в «Дневнике писателя» за 1873 год: «К русскому народу они (русские либералы и Герцен) питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его отрицательно, воображая вместо него какой-то идеальный народ, – каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ. Этот идеальный народ невольно воплощался тогда у иных передовых

представителей большинства в парижскую чернь девяносто третьего года. Тогда это был самый пленительный идеал народа...» [50, т.21, с. 9].

Между тем, Шатов дан повествователем («хроникером») как человек, не соответствующий своей идее. Шатов, говорит он, был одним «из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно, и вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах под свалившимся на них и на половину совсем уже раздавившим их камнем» [50, т.10, с. 11]. Да и вообще, хроникер в романе не ведет к ясным и определенным оценкам. Как заметил М. Йованович, «в фабуле романа установка на недостоверность является основополагающим принципом повествования, предполагающим дополнительную «работу» читателя по постижению «тайн» авторского замысла» [210, с. 5].

Недостоверность или, точнее, «ненадежность повествователя» характеризует нарративные установки и в романе «Подросток», где также присутствует диегетический нарратор. Аркадий Макарович Долгорукий выступает здесь и в роли повествующего «я», и в роли центрального персонажа произведения, всякий раз демонстрируя в своих высказываниях об иностранцах крайнюю категоричность суждений и оценок. При этом он представляет собой ярко выраженный тип «русского иностранца» или «русского скитальца», отношение к которому со стороны Ф. Достоевского как «автора» всегда неоднозначно.

По мере художественной эволюции Ф. Достоевского его нарративные стратегии значительно усложняются. Так, в романе «Бесы» впервые появляется нарратор-«хроникер». Притом, что у него есть имя – Антон Лаврентьевич Г-в – и он присутствует при совершении важнейших событий, происшедших, как утверждается, «в нашем, доселе ничем не отличавшемся городе», его участие в этих событиях минимизировано, как и придание определенных, четко выраженных оценок [50, т.10, с. 7]. По наблюдению О. А. Ковалева, в порядке «повествования» в «Бесах» заметна определенная несогласованность (пример

«рассеянного», по определению В. Шмида, нарратора), то есть «временами Достоевский как бы забывает о хроникере, а потом пытается ликвидировать противоречие между фактическим повествованием и заданным образом нарратора. Образ хроникера мотивирует осведомленность в отношении Степана Трофимовича, в остальных же случаях такая мотивированность отсутствует...» [83, с. 215]. Как отмечает исследователь, «вместе с хроникером появился взгляд на события изнутри, но при этом взгляд, отличающийся от авторского, а, следовательно, оказалось возможным не высказывать авторскую мысль напрямую, непосредственно. То, что замысел не получает прямой реализации, а многообразно опосредуется в ходе его воплощения разного рода мыслями, желаниями, стремлениями и художественными структурами, могло восприниматься писателем как процесс не только необходимый, неизбежный, но и ценный – лишающий произведение первоначальной субъективности и, следовательно, придающий ему черты самой реальности» [83, с. 215].

Интересно, что формы «ненадежности» нарратора отличаются в разных произведениях Ф. Достоевского. Если в «Подростке» она поддерживается формой повествования от первого лица, то еще в «Бесах», а позже в «Братьях Карамазовых», повествователь-хроникер часто акцентирует в своем дискурсе недостоверность, неуверенность, сомнение и прочие варианты модальности «невсезнания» такими словесными формулами: «кажется», «говорят», «не могу утверждать наверное», «доподлинно неизвестно», «и хотя неясно, но я это выскажу». В некоторых местах текста можно отметить и противоречия в нарративных установках автора. Как, например, может хроникер в «Бесах» воспроизводить самым детальным образом внутренние монологи Петра Верховенского в момент, когда он провоцирует Кириллова к самоубийству и потом ожидает выстрела из соседней комнаты.

Как видим, по мере эволюции Ф. Достоевского нарративная структура его текста все более усложняется и все более сложным становится выражение его позиции, в том числе и по отношению к иностранцам и «русским иностранцам». Во всех описанных выше случаях нарративной организации

текста «автор» уклоняется от придания прямой значимости важным для него идеологическим положениям, для них ему нужно эстетическое опосредование. И важнейшей формой такого опосредования выступает нарративная организация текста, в частности, его сложная фокализационная природа. Объясняет эти формы (отчасти) и механизм пародирования, описанный Ю. Н. Тыняновым у Ф. Достоевского, и диалогизм художественной системы писателя в трактовке М. М. Бахтина. Речь идет о том, что Ф. Достоевский для достижения пародийного эффекта мог, по словам Ю. Н. Тынянова, переносит даже «трагические черты» из собственной жизни «в произведения, иногда резко меняя их эмоциональную окраску...» [181, с. 215]. То есть писатель при этом шел на риск для достижения эстетического опосредования. А в описанных нами случаях он рискует иначе: доверяет дорогие ему мысли «сомнительным» персонажам. Этим же целям могла служить и установка на самый широкий диалог сознаний в поэтике Ф. Достоевского.

Обратимся теперь к иностранцам, существующим не в идеологическом, а в как бы нейтральном, перцептивном поле, чтобы понять, меняется ли при этом отношение к иностранцу. Из-за обилия материала тут придется ограничиться показательными примерами. Оговоримся вначале, что среди повествовательных точек зрения перцептивный план, по характеристике известного нарратолога В. Шмида, – это использование персонажа в качестве призмы восприятия, учет того, чьими глазами нарратор смотрит на события и кто отвечает за выбор тех, а не других деталей при изображении [196, с. 125-126].

На первичном уровне тут – простые информирующие упоминания в речи персонажей об иностранцах как о части русского бытового контекста. Например, Лужин упоминает о «бесчеловечной» немке Ресслих, а Катерина Ивановна – о «почтенном» французе «старичке Манго» («Преступление и наказание») [50, т.6, с. 298]. Их оценки относятся к индивидуальным качествам, а не родовым (национальным). Иностранцы эти никак более не характеризуются и составляют пассивный (относительно) культурный фон,

примерно с такой же функцией, как у описанных выше иностранцев из «Униженных и оскорбленных».

Специфика же ощутима при взаимодействии уровней нарратора и персонажа. Приведем такой пример. Когда Птицын из романа «Идиот», умный и уравновешенный ростовщик, рассказывает о тех, кто доставал Рогожину деньги (сто тысяч для Настасьи Филипповны), то он тоже нейтрально информирует об этих людях, давая необходимый в этом случае перечень: «работают многие, Киндер, Трепалов, Бискуп; проценты дает какие угодно» [50, т.8, с. 101]. Но когда нарратор через одну главку упоминает об этих людях уже со своей позиции (он описывает действия Рогожина), то у него русская фамилия Трепалов исчезает из этого перечня, и оставшаяся пара предстает как некие обобщенные еврей-ростовщики: Рогожин «провел всё время, с пяти часов пополудни вплоть до одиннадцати, в бесконечной тоске и тревоге, возясь с Киндерами и Бискупами, которые тоже чуть с ума не сошли, мечась как угорелые по его надобности» [50, т.8, с. 104]. Этот пропуск русской фамилии – значимое явление: для Достоевского-«автора», который считал, что евреи образуют своего рода «государство в государстве», он не мог быть случайным (заметим, что евреи в этом плане предстают тоже как своего рода иностранцы в художественно-идеологической системе Ф. Достоевского). Нарратор тут уже занимает (имплицитно) идеологическую позицию. В связи с этим представляется весьма точным мнение В. Мийиферьян, которая называет повествователя в «Идиоте» «личным» [211, с. 368], подчеркивая этим его близость с Достоевским-«автором».

Все это позволяет в итоге отметить, что изучение нарративных стратегий Достоевского имеет исключительное значение для понимания его позиции в изображении иностранцев и тех русских, что оторвались от родной «почвы». Фокализационный способ изображения таких персонажей в перцептивном плане либо не противоречит идеологическому, в данном случае «почвенническому» видению иностранца Достоевским-«автором», либо согласуется с ним.

#### Выводы к разделу 4.

Анализ особенностей словоупотребления, связанных с изображением иностранцев и «отщепенцев» у Ф. М. Достоевского, говорит о том, что они принципиально не отличаются от общих принципов работы писателя со словом. Для адекватной интерпретации этой сферы поэтики автора «Преступления и наказания» определяющее значение имеет методологическая установка, разработанная М. М. Бахтиным в контексте его концепции диалогической природы творчества Ф. Достоевского, главным признаком которого является отсутствие «окончательного, раз и навсегда определяющего слова» [83, с. 458].

Диалогическое соотношение разных значений слова применительно к иностранным персонажам дает возможность писателю создавать образы, не сводимые к четко сформулированному семантическому кругу, но представляющие собой своеобразную модель смыслопорождения, сплошь и рядом выводящую автора на многозначно-амбивалентную трактовку изображаемого явления. Эта общая тенденция нарушается тогда, когда Ф. Достоевский, создавая некоторые образы иностранцев и «чужеродцев», обращается к таким комическим формам обобщения, как ирония, использование иноязычных вкраплений в их речь, уменьшительно-ласкательных слов, всевозможных частиц, написание некоторых слов латиницей, закавычивание некоторых выражений, насыщение их речи своеобразными идеологемами, приобретающими нередко мифологическое значение.

Что касается сравнительных особенностей представителей «русских скитальцев» в публицистике и в художественных произведениях Ф. Достоевского, то тут прослеживается следующая закономерность. В публицистике, особенно в речи о Пушкине и в ряде предшествующих статей в «Дневнике писателя», Ф. Достоевский говорит о них с трагической

серьезностью. В художественных же произведениях писатель, как правило, едко иронизирует над ними.

Специфическим в связи с изображением иностранцев является и нарративный ракурс повествования. Восприятие иностранца в значительной степени зависит от места и роли в повествовательной структуре произведения нарратора либо персонажа, чьими глазами увидена такая фигура. При этом сплошь и рядом в текстах Ф. Достоевского вводится фигура недостоверного, «ненадежного повествователя» (предвзятый Алексей Иванович в «Игроке», «хроникер» в «Бесах», эксплицитно отказывающийся от «всезнания» повествователь в «Братьях Карамазовых» и др.). По мере эволюции Ф. Достоевского нарративная структура его текста все более усложняется и все более сложным становится выражение его позиции, в том числе и по отношению к иностранцам и «русским иностранцам». Во всех описанных выше случаях нарративной организации текста «автор» уклоняется от придания прямой значимости важным для него идеологическим положениям, для них ему нужно эстетическое опосредование.

## ВЫВОДЫ

Предпринятое в данной диссертации исследование особенностей изображения иностранцев в творчестве Ф. М. Достоевского предполагало специфический ракурс, заключающийся, во-первых, в последовательном проведении соотношения «русский – иностранец» в творческой системе писателя; во-вторых, в рассмотрении этого соотношения в контексте его «почвеннических» идей («русской идеи» Достоевского); в-третьих, в учитывании «антропологического экзистенциализма» Ф. Достоевского, имплицитно включающего в себя ряд архаико-мифологических оппозиций; в-четвертых, в разграничении собственно эстетического (по преимуществу художественного, поэтико-стилевого) и публицистического (шире – внелитературного, и даже «бытового») векторов изображения и интерпретации Достоевским как представителей отдельных наций, так и национальных стереотипов. Указанное разграничение базировалось, прежде всего, на идеях Т. Адорно об «автономности», «нелживости» художественных образов и на концепции М. М. Бахтина о полифоничности романов Ф. Достоевского и «самостоятельности» голосов-идей его персонажей, идеологические позиции которых не следует приписывать Ф. Достоевскому как биографическому автору. Выражение «рупор авторских идей» менее всего применимо к творчеству этого писателя.

Именно художественно-эстетический (поэтико-стилевой) подход к поставленной проблеме дает возможность «развести» отношение Достоевского-человека к иностранцам (сплошь и рядом резко отрицательное) и Достоевского-художника, автора произведений, в которых «все неокончательно».

Поставленная в работе исследовательская задача заключалась не столько в создании типологии иностранцев в творчестве Ф. Достоевского и рассмотрении их характеристических черт, сколько в выявлении сущности феномена «иностранец» в интерпретации Ф. Достоевского и в первую очередь «русский иностранец» в его преломлении к «почвенничеству» и важнейшей примыкающей к нему идее «всечеловечности». Признавая важность,



возможность и в известных случаях необходимость имагологической методологии в исследовании поставленной проблемы, мы сознательно отказались от ее ведущей роли в исследовательском дискурсе, отодвинули ее на второй план и избрали в качестве доминирующей ориентацию на традиционный культурно-исторический метод и принципы исторической и теоретической поэтики в анализе художественных особенностей изображения иностранцев Ф. Достоевским. Мы опирались, прежде всего, на законы поэтики Ф. Достоевского, понимание которых невозможно без учета широкого контекста его творчества и применения системно-целостного подхода (по преимуществу в разработке М. М. Гиршмана) к анализу как отдельного произведения, так и художественного наследия писателя в целом.

В характеристике «почвеннической» парадигмы Ф. Достоевского мы акцентировали значительный слой в ней «идеального», желательного, а не уже явленного. Представления Ф. Достоевского и его соратников о значении «почвы» для преобразования русского общества середины и второй половины XIX века носят проспективно-программный характер. Как показывает анализ художественных произведений писателя 1860-1870-х годов, при всем его («почвенничества») теоретически положительном смысле, оно верифицируется образным строем книг писателя весьма недостаточно, что проявляется, в частности, в крайне малом количестве среди «русских» персонажей таких, кто своей жизнью и образом действий отвечали бы идеалам «почвенничества». Те же, кого прижизненная критика писателя или современные исследователи объявляли таковыми (Антонида Васильевна Тарасевичева из «Игрока», Разумихин из «Преступления и наказания», князь Мышкин из «Идиота», Макар Иванович Долгорукий из «Подростка», старец Зосима из «Братьев Карамазовых» и др.), либо отдельными своими поступками нарушают эти идеалы, либо их проповеди выглядят умозрительными и поверхностными. Так, непосредственное включение «почвеннических» идей в художественные произведения, в частности, в речи персонажей, представляется неубедительным, они производят впечатление чужеродных элементов —

например, в речах или в «Беседах и поучениях» старца Зосимы, в различении русского и западного преступника, чего роман в целом не подтверждает.

Говоря о «почвеннической» идеологии Ф. Достоевского, мы выявили редко учитываемую исследователями эволюцию, которая сказалась и в оценке иностранцев. Существенно, что даже «прямые» высказывания Ф. Достоевского об иностранцах во многом меняются в процессе его личной и творческой эволюции: в 1860-е гг., период наиболее активного прокламирования «почвенничества», Ф. Достоевский не столь категоричен и однозначен, как в 1870-1880-е гг.

В диссертации, в соответствии с субъективной трактовкой самим Достоевским лексемы «иностранец», использовано «широкое» понимание категории «иностранец», которая охватывает и исключительное явление «русских иностранцев» – персонажей, потерявших привязанность к «почве», «русскость». При этом учитывается широта круга «русских иностранцев» (по сути, ключевых персонажей всех романов Ф. Достоевского) – от тех, кто окончательно и безоговорочно потерял связь с родиной и даже ненавидит ее (князь Валковский, Петр Верховенский, Смердяков), до тех, кто оторвался от нее в той или иной степени и имеет внутренние ресурсы для возрождения (Алексей Иванович из «Игрока», Раскольников из «Преступления и наказания», князь Мышкин из «Идиота», Ставрогин из «Бесов»).

В изображении «реальных» иностранцев – немцев, французов, поляков, евреев англичан – выявлен весьма широкий аксиологически-смысловой диапазон – от явно предвзятых негативных характеристик (чаще всего) до признания положительных свойств отдельных иностранцев и акцентирования свидетельств продуктивного «сотрудничества» русских и иностранцев.

Последовательно проведенный в работе аналитический ракурс выявления отношений русских с иностранцами («иностранцы сквозь призму русских» и «русские сквозь призму иностранцев») дал возможность сделать вывод о том, что эти отношения выступают в романах Ф. Достоевского своеобразным испытанием самых разных персонажей на способность к становлению,

движению к идеалу «всечеловека». Такие отношения оказываются важным средством корректировки категорических и однозначных мнений об иностранцах как персонажах, так и нарраторов в художественных произведениях, а с другой стороны, и высказываний самого Ф. Достоевского в его публицистике, переписке и частных высказываниях.

Образы реальных иностранцев рассмотрены в диссертации, прежде всего и главным образом в соотнесении с русскими персонажами и в свете идеала «всечеловечности», осознание которого присуще некоторым русским, но до которого они сами еще не дотягивают. Например, в романе «Игрок», где выведено особенно много иностранцев, и по преимуществу в негативном свете, русские ничуть не лучше иностранцев; даже кажущаяся нарратору «настоящей русской» Антонида Васильевна Тарасевичева, скорее, «антиномичный», нежели «положительный» персонаж. Показательно, что англичанин Астлей в сцене прощания с Алексеем Ивановичем характеризует русских, по сути, сквозь призму «почвенничества», говоря о них как о людях способных и недурных, в которых нуждается отечество, но бросающихся в крайности и забывающих о необходимости повседневного труда и самоуважения.

В целом, отношения русских персонажей к иностранцу меняются от его восприятия как безличного национального стереотипа (в негативном и позитивном ключе) до восприятия «Европы» (обобщенно взятого иностранца) в качестве своего «самого дорогого» духовного начала. Все эти отношения, взятые в их «текущем» состоянии, даны в реалистическом ключе («при полном реализме») и подчинены универсальной оппозиции «свой – чужой», лежащей в основе восприятия мира. И только символическая (мифологическая, утопическая) сфера «почвеннического» идеала («всечеловеческой любви») занимает в художественно-идеологическом мире Ф. Достоевского особое место: в ней как бы уже преодолена универсальность оппозиции «свой – чужой».

Как показывает анализ конфликтов между русскими и иностранцами, они разрешаются в основном в аспекте возможностей (часто скрытых, увиденных в

художественную глубину текста, нередко гипотетических, но возможных именно в свете «почвенничества». В конфликтных ситуациях между иностранцами и русскими, которые во многом верифицируют их отношения, намечены такие пути их разрешения: а) преодоление противоречий на личностно-психологическом уровне (в ссорах или столкновениях русские персонажи всегда, так или иначе, выявляют внутреннюю готовность к принятию позиции «оппонента» наряду со своей); б) эстетическое отрешение от привычной бытовой неприязни к чужому (противоречия между поляками и русскими условно – и в то же время реально, то есть в театрально-карнавальной атмосфере, описанной в «Записках из мертвого дома» – снимаются эстетическим отрешением от обычных условий жизни); в) установление повествователем (или персонажем) равных критериев для оценки русского и иностранца (повествователь в «Преступлении и наказании», оценивая еврея с точки зрения его иудейского идеала, тем самым как бы ставит в равные условия русский и еврейский мессианизм; персонаж из «Игрока», осуждая французов и немцев, может делать это только исходя из признания несовершенства русских).

При этом для оценки русских и иностранцев Ф. Достоевский применяет один и тот же критерий, который также коррелирует с такими важными составляющими «почвенничества» и всей антропологии писателя, как «естественность», преодоление прагматизма, готовность к состраданию и самопожертвованию. В таком свете представлена в «Игроке» оценка русской «бабушки», а через нее и англичанина мистера Астлея.

Особое внимание в работе уделено феномену «русский иностранец». Понятие «русский иностранец» (русский, оказавшийся чужим в народной среде из-за своего европеизма и безрелигиозности) является ключевым для Достоевского-«почвенника». Оно реализуется в его художественной системе на таких образно-смысловых уровнях: а) личность, чье духовное становление мыслится в «почвеннических» параметрах «русское – общечеловеческое» (в качестве модели такой личности Ф. Достоевский использует фигуру

А. И. Герцена, а воплощают ее основные герои-идеологи Ф. Достоевского: Раскольников, Ставрогин, Версилов и др.); б) сниженные и пародийные воплощения этой личности (таковы Смердяков со своим лакейским «европеизмом» и Артемий Павлович из «Бесов» с его полудетским увлечением европейским средневековьем); в) диалектическая связь-противостояние этой личности и народа (в лице таких персонажей, как Макар Долгорукий и отчасти Соня Мармеладова). Такая смысловая структура «русского иностранца» существенно раскрывает сложный характер движения к «всечеловеческому».

Важнейшим характеризующим началом персонажей, воплощающих данный феномен, является двойничество. «Антиномический» (или амбивалентный) вид консолидирует таких персонажей как Раскольников, Ставрогин, Версилов, Свидригайлов, Иван Карамазов – «героев, семантика образов которых определяется мотивами гордости – рабства, извращения идей и нравственных убеждений, гордыни, бесовства и шутовства, идеи человекобога» [123, с. 8].

Знаменательной особенностью поэтики, через которую проявляется «истинное» отношение к иностранцам, выступает именование персонажей, когда каждое имя в силу насыщения национальным и литературно-алюзивным компонентом, приобретает обобщающе-смысловое значение, как например Елена-Нелли и различные смешанные имена-отчества в «Униженных и оскорбленных», барон Вурмергельм в «Подростке», Андрей Антонович фон Лембеке в «Бесах», Смердяков (как «русский иностранец») в «Братьях Карамазовых». Смысловая насыщенность имен часто усиливается за счет интертекстуальных параллелей, как в случае с частым употреблением таких прецедентных имен, как Шиллер или Наполеон.

Важнейшее средство характеристики иноземцев и «русских иностранцев» у Ф. Достоевского – ирония. Она проявляется в описании внешности персонажей, в утрировании особенностей их речепостроения. Характернейший пример – изображение черта, который представляется Ивану Карамазову, будучи, по сути, его двойником: смешанные в нем русские и иностранные

черты, иронически обыгранные коннотационные связи с европейской культурой подчеркивают его «западное» начало, неорганичность этого феномена для русского сознания.

Как своеобразный критерий соотношения «русского» и «инонационального» в работе рассмотрен феномен «детского» сознания. Дети у Ф. Достоевского всегда вненациональны, и среди его «идеальных» детей есть «полинациональные» – например, Елена-Нелли в «Униженных и оскорбленных», чья мать – дочь англичанина (Смита) и русского (князя Валковского). Князь Мышкин тоже ребенок и, в общем, не русский человек, а, скорее, «гражданин мира» [50, т.10, с. 473]. Через воскрешение «детского» начала в человеке нивелируется и национальная противопоставленность. Так, в «Записках из Мертвого дома» оппозиционность русских и поляков, обозначенная в целом весьма определенно, эстетически снимается во время театральных представлений, когда «все без исключения становились детьми» [50, т.4, с. 120].

Проследивая случаи сущностного сходства «русских» и «нерусских» персонажей (генерал Загорянский – барон Вурмергельм в «Подростке»; Шульц – Лужин в «Преступлении и наказании», Лямшин – Виргинский в «Бесах» и др.), приходим к выводу о том, что о противопоставленности русских и иностранцев нельзя говорить как о *принципе* в художественно-идеологической системе Достоевского-«почвенника», ведь национальная «почва» в конфликтных ситуациях между ними имеет не абсолютную, а относительную значимость. Зато абсолютна у Ф. Достоевского антропологическая основа конфликтов во внутреннем мире главных героев его романов.

Важную роль в снятии противоречий на национально-конфессиональной почве играют детали предметно-художественной изобразительности. Так, католический крест в келии старца Зосимы в «Братьях Карамазовых» указывает на его терпимость к иным христианским конфессиям. Подобно этому детали внешности еврея, которого встречает Свидригайлов перед самоубийством, представленные в нарративной перспективе «русского» персонажа,

акцентируют имплицитно выраженную здесь мысль об уравнении русского и еврейского мессианизма.

В анализе идеологической и художественно-образной составляющих проблемы «русский – иностранец» принципиальное значение отводилось соотношению авторской и чужой речи, и шире – нарратологическому подходу. Это способствовало установлению неоднозначности авторской позиции, выявлению, помимо иронико-сатирических оценок, амбивалентных характеристик иностранцев, в отличие от категоричности и утрированности многих «прямых» высказываний Ф. Достоевского.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Адорно Т. Теория эстетики / Т. Адорно. – Київ : Основы, 2002. – 518 с.
2. Альтман М. С. Достоевский. По вехам имен / М. С. Альтман. – Саратов : Изд-во Саратовского унив-та, 1975. – 280 с.
3. Альтман М. С. Этюды о романе Достоевского «Бесы» [Электрон. ресурс] / М. С. Альтман. – 1975. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru/Prometej-5/30.htm>
4. Апресян Р. Г. Идея морали и базовые нормативно-этические программы / Р. Г. Апресян. – М. : Институт философии РАН, 1995. – 353 с.
5. Арутюнова Н. Д. Знать себя и знать другого (По текстам Достоевского) / Н. Д. Арутюнова // Слово в тексте и в словаре: Сборник статей к 70-летию акад. Ю. Д. Апресяна. – М. : Языки русской культуры, 2000. – С. 22-41.
6. Арутюнова Н. Д. Понятие стыда и совести в текстах Достоевского / Н. Д. Арутюнова // Логический анализ языка: Образ человека в культуре и языке. – М. : Индрик, 1999. – 424 с.
7. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе / Э. Ауэрбах. – М. : Прогресс, 1976. – 514 с.
8. Бак Д. П. Польша и поляки в русской литературе 1860-х годов / Д. П. Бак. – М. : Индрик, 2000. – 240 с.
9. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет / М. М. Бахтин. – М. : Художественная литература, 1975. – 504 с.
10. Бахтин М. М. О полифоничности романов Достоевского / М. М. Бахтин // Языки славянской культуры, 2002. – Т.6. – С. 458-465.
11. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – М. : Советский писатель, 1963. – 363 с.
12. Белов С. В. Достоевский и евреи / С. В. Белов // Алеф. – 2002. – №7. – С. 38-39.



13. Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов / Э. Бенвенист. – М. : Прогресс-Универс, 1995. – 456 с.
14. Бердяев Н. А. Русская идея / Н. А. Бердяев. – Харьков: Фолио; М. : ООО «Издательство АСТ», 2000. – 400 с.
15. Бердяев Н. А. Судьба России. Опыты по психологии войн и национальности / Н. А. Бердяев. – М. : Мысль, 1990. – 212 с.
16. Бердяев Н. А. Мирозерцание Достоевского. Откровение о человеке в творчестве Достоевского. Ставрогин [Электрон. ресурс] / Н. А. Бердяев. – Режим доступа : <http://flibusta.net/a/46954>
17. Бердяев Н. А. Христианство и антисемитизм [Электрон. ресурс] / Н. А. Бердяев. – Режим доступа : <http://www.vehi.net/berdyayev/ant2.html>
18. Богданов А. В. Политическая теория почвенничества: автореф. дис. ... канд. полит. наук: спец. 23.00.01 / А. В. Богданов. – Москва, 2002. – 22 с.
19. Борисова В. В. Национальное и религиозное в творчестве Ф. М. Достоевского: автореф. дисс. ... д-ра филол. наук: спец. 10.01.01/ В. В. Борисова. – Екатеринбург, 1997. – 33 с.
20. Борисова В. В. Национальное [Электрон. ресурс] / В. В. Борисова // Режим доступа : <http://www.fedordostoevsky.ru/research/aesthetics-poetics/031/>
21. Булгаков С. Н. Венец терновый. Памяти Достоевского/ С. Н. Булгаков // Соч.: в 2 т. – М. : Наука, 1993. – Т.2. – С. 222-239.
22. Булгаков С. Н. Избранные статьи. Сочинения в двух томах / С. Н. Булгаков. – М. : Наука, 1993. – Т.2. – 752 с.
23. Буткова Н. В. Образ Германии и образы немцев в творчестве И. С. Тургенева и Ф. М. Достоевского: автореф. дис. ... канд. филол. наук: спец. 10.01.01/ Н. В. Буткова. – Волгоград, 2001. – 18 с.
24. Бяньгэ Чжан. Проблема духовного возрождения человека в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: автореф. дис. ... канд. филол. наук: спец. 10.01.01/ Чжан Бяньгэ. – Москва, 2006. – 16 с.
25. Валицкий А. История русской мысли от просвещения до марксизма / Анджей Валицкий. – М. : «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2013. – 480 с.

26. Ветловская В. Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы»/ В. Е. Ветловская. – Л.: Издательство «Наука», 1977. – 200 с.
27. Ветловская В. Е. Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»/ В. Е. Ветловская. – СПб. : Издательство «Пушкинский дом», 2007. – 640 с.
28. Виноградова Л. Н. Человек – не человек в народных представлениях / Л. Н. Виноградова // Человек в контексте культуры. Славянский мир. – М. : Индрик, 1995. – С. 17-26.
29. Винчел В. Достоевский и антисемитизм [Электрон. ресурс] / В. Винчел. – 2003. – Режим доступа : <http://www.proza.ru/2005/01/20-173>
30. Владимирцев В. П. Немецкая тема в «петербургской поэме» Ф. М. Достоевского «Двойник» / В. П. Владимирцев // Три века русской литературы. Актуальные аспекты изучения: межвуз. сб. научн. тр. – Иркутск. – 2004. – С. 66-72.
31. Волгин И. Л. Последний год Достоевского: исторические записки / И. Л. Волгин. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : АСТ: Зебра Е, 2010. – 736 с.
32. Габдуллина В. И. Испытание Европой: роман Ф. М. Достоевского «Игрок» [Электрон. ресурс] / В. И. Габдуллина // Вестник ТГУ. Сер.: Филология. – 2008. – № 314. – С. 13-18. – Режим доступа : <http://cyberleninka.ru/article/n/iskushenie-evropey-roman-f-m-dostoevskogo-igrok>
33. Гарин И. И. Многоликий Достоевский [Электрон. ресурс] / И. И. Гарин. – М. : Терра, 1997. – 395 с. – Режим доступа : [http://ru.dostoevskij-classic.classic.eh.org.ua/gardost1\\_1.html](http://ru.dostoevskij-classic.classic.eh.org.ua/gardost1_1.html)
34. Гачев Г. Д. Национальные образы мира / Г. Д. Гачев. – М. : Прогресс-Культура, 1995. – 480 с.
35. Гачев Г. Д. Ментальности народов мира / Г. Д. Гачев. – М. : Алгоритм, Эксмо, 2008. – 544 с.
36. Гиголашвили М. Г. Немцы и немецкое в «Преступлении и наказании» Ф. Достоевского / М. Г. Гиголашвили // Крещатик. – 2000. – №9. – С. 75-82. – Режим доступа : <http://www.kreschatik.kiev.ua/9/24.htm>

37. Гиголашвили М. Г. Немцы в изображении Достоевского (заметки) / М. Г. Гиголашвили // Топос. Литературно-философский журнал. – 2011. – Режим доступа : <http://www.topos.ru/article/7629>
38. Гиршман М. М. Литературное произведение: теория и практика анализа: [учеб пособ.]/ М. М. Гиршман. – М. : Высш. шк, 1991. – 160 с.
39. Гиршман М. М. Литературное произведение: теория художественной целостности/ М. М. Гиршман. – М. : Языки славянской культуры, 2002. – 528 с.
40. Гогина Л. П. «Положительно прекрасный» Иван Шатов как альтернатива прогрессирующей безнравственности в романе Достоевского «Бесы» [Электрон. ресурс] / Л. П. Гогина. – 2011. – Режим доступа : [http://superinf.ru/view\\_helpstud.php?id=4309](http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=4309)
41. Гроссман Л. П. Поэтика Достоевского [Электрон. ресурс] / Л. П. Гроссман. – 1925. – Режим доступа : [http://az.lib.ru/g/grossman\\_1\\_p/text\\_1925\\_poetika\\_dostoevskogo.shtml](http://az.lib.ru/g/grossman_1_p/text_1925_poetika_dostoevskogo.shtml)
42. Гроссман Л. П. Достоевский и Европа / Л. П. Гроссман // Цех пера: эссеистика. – М. : Аграф, 2000. – С. 113-160.
43. Гулыга А. В. Русская идея и ее творцы / А. В. Гулыга. – М. : Изд-во Эксмо, 2003. – 448 с.
44. Гумилёв Л. Н. Единство и разнообразие степной культуры Евразии в средние века / Л. Н. Гумилёв // Народы Азии и Африки. – 1969. – № 3. – С. 78-87.
45. Данилевский Р. Ю. Русские и немцы: тысяча лет общения/ Р. Ю. Данилевский // Русская литература. – 1994. – №1. – С. 198-203.
46. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому / Н. Я. Данилевский. – СПб. : Изд-во СПб ун-та, Издательство «Глаголь», 1995. – 552 с.
47. Дима А. Образ иностранца в различных национальных литературах / А. Дима // Принципы сравнительного литературоведения. – М. : Прогресс, 1977. – С. 148-153.

48. Динкевич С. Евреи, иудаизм, Израиль: в 2 томах / С. Динкевич. – М. : МИК, 2011. – Т.1. – 370 с.
49. Долинин А. С. Версилов и Макар Долгорукий / А. С. Долинин // Последние романы Достоевского. – М., Л. : Советский писатель, 1963. – С. 95-132.
50. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30-ти томах/Ф. М. Достоевский. – Л. : Наука, 1972 - 1990.
51. Достоевский Федор Михайлович. Антология жизни и творчества: сетевое издание [Электрон. ресурс] / Отв. ред. С. А. Рублев. – 2012. – Режим доступа : <http://www.fedordostoevsky.ru/>
52. Дудаков С. Ю. История одного мифа. Очерки русской литературы XIX-XX вв. / С. Ю. Дудаков. – М. : Наука, 1993. – 285 с.
53. Дубоссарская М. Л. Свой – Чужой – Другой к постановке проблемы / М. Л. Дубоссарская // Вестник Ставропольского государственного университета. – 2008. – № 54. – С.167-174.
54. Дунаев М. М. Федор Михайлович Достоевский / М. М. Дунаев // Вера в горниле сомнений: Православие и русская литература в XVII-XX веках. – М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – С. 317-420.
55. Душенко К. В. [Рецензия на книгу: Orłowski J. Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej: Od wieku XVIII do roku 1917. Warszawa] / К. В. Душенко [Электрон. ресурс] // Новый мир. – 1994. – № 5. – Режим доступа : [http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi/1994/5/zarkn.html](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1994/5/zarkn.html)
56. Дюркгейм Э. Метод социологии / Э. Дюркгейм // Западно-европейская социология XIX-начала XX веков. – М. : Наука, 1996. – С. 256-309.
57. Евлампиев И. И. Философия человека в творчестве Ф. Достоевского (от ранних произведений к «Братьям Карамазовым»)/ И. И. Евлампиев. – СПб. : Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2012. – 585 с.
58. Евреи в России: История и культура: сб. науч. тр. / Отв. ред. Д. А. Эльяшевич; Петербург. евр. ун-т. – СПб. : Ин-т исслед. евр. диаспоры, 1994. – 213 с.

59. Ефимова Н. И. Мотив библейского Иова в «Братьях Карамазовых» / Н. И. Ефимова // Достоевский: Материалы и исследования. – СПб. : Наука, 1994. – Т. 11. – С. 122-132.
60. Жакевич З. Поляки у Достоевского / З. Жакевич // Новая Польша. – 2006. – № 5. – С. 35-40.
61. Жданов С. С. Национальность героя как элемент художественной системы. Немцы в русской литературе XIX века: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / С. С. Жданов – Новосибирск, 2005. – 197 с.
62. Забровский А. П. К проблеме типологии образа иностранца в русской литературе / А. П. Забровский // Россия и Запад: диалог культур. – 1994. – №1. – С. 87-105.
63. Заславский Д. О. Заметки о юморе и сатире в произведениях Достоевского / Д. О. Заславский // Творчество Достоевского. – М. : Изд-во АН СССР, 1959. – С. 445-471.
64. Захаров В. Н. О христианском значении основной идеи творчества Достоевского / В. Н. Захаров // Достоевский в конце XX века: сб. научн. трудов. – М. : Классика плюс, 1996. – С. 137-146.
65. Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа/ В. В. Зеньковский. – М. : Республика, 2005. – 368 с.
66. Иванов В. В. К. Леви-Стросс и структурная теория этнографии / В. В. Иванов // Структурная антропология. – М. : Наука, 1985. – С. 397-421.
67. Иванов В. И. Родное и вселенское / В. И. Иванов. – М. : Республика, 1994. – 428 с.
68. Иванова С. И. «Польский вопрос» в русской философии культуры второй половины XIX века: автореф. дисс. ... канд. филос. наук: спец. 24.00.01 / С. И. Иванова. – Белгород, 2011. – 18 с.
69. Ильин И. А. Путь духовного обновления / И. А. Ильин. – М. : Православное изд-во Апостол веры: Альта принт, 2006. – 446 с.

70. Истомина Т. Б. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в его связях с древнерусской литературой: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.01.01 / Т. Б. Истомина. – Л., 1976. – 21 с.
71. Каган В. Е. НОМО ХЕНОРНОВІСІС : психология «своего и чужого» [Электронный ресурс] / В. Е. Каган // Режим доступа : <http://lebed.com/2000/art2121.htm>.
72. Калужиньский З. Страшные поляки, святая Русь [Электрон. ресурс] / З. Калужиньский. – 2011. – Режим доступа : <http://forum.polska.ru/viewtopic.php?f=3&t=2839&start=390>
73. Канонистова З. С. Межкультурный диалог в историческом контексте: Восприятие образа Англии и англичан в русском обществе во второй половине XIX - начале XX вв.: автореферат дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / З. С. Канонистова. – Саратов, 2006. – 24 с.
74. Кантор В. К. Русский европеец как явление культуры (философско-исторический анализ) / В. К. Кантор. – М. : РОССПЭН, 2001. – 704 с.
75. Кантор В. К. Трагические герои Достоевского в контексте русской судьбы [Электрон. ресурс] / В. К. Кантор // Вопросы литературы. – 2008. – №6. – С. 75-78. – Режим доступа : <http://magazines.russ.ru/voplit/2008/6/ka7.html>
76. Кантор В. К. «Судить Божью тварь». Пророческий пафос Достоевского: Очерки / В. К. Кантор – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 422 с.
77. Кара-Мурза С. Г. Демонтаж народа / С. Г. Кара-Мурза. – М. : Алгоритм, 2007. – 705 с.
78. Караулов Ю. Н. и др. Слово Достоевского: сб. статей / Ю. Н. Караулов; под ред. Ю. Н. Караулова и Е. Л. Гинзбурга. – М. : Азбуковник, 2001. – 596 с.
79. Карсавин Л. П. Достоевский и католичество / Л. П. Карсавин. – М. : Раритет, 1993. – 192 с.
80. Касаткина Т. А. Характерология Достоевского. Типология эмоционально-ценностных ориентаций / Т. А. Касаткина. – М. : Наследие, 1996. – 336 с.

81. Кибальник С. А. «Положительно прекрасный» герой-иностранец в романе Ф. М. Достоевского «Игрок» (мистер Астлей и его литературные прообразы) [Электрон. ресурс] / С. А. Кибальник. – Вестник Башкирского ун-та. – 2014. – №4. – Режим доступа: <http://bulletin-bsu.com/arch/2014/4/6-9/>
82. Кирпотин В. Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. Достоевский-худодник/ В. Я. Кирпотин // Избранные работы: в 3-х томах. – Т.3. – М. : Худож. лит-ра, 1978. – 751 с.
83. Ковалев О. А. Нарративные стратегии в творчестве Ф. М. Достоевского: научная монография / О. А. Ковалев. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. – 316 с.
84. Ковач А. Роман Достоевского: Опыт поэтики жанра / А. Ковач. – Budapest: Tankonyvkiado, 1985. – 372 с.
85. Кокшаров Н. В. Взаимодействие культур: диалог культур / Н. В. Кокшаров //Соционика, психология и межличностные отношения:человек, коллектив, общество. – 2009. – №140. – С. 28-37.
86. Колосова Н. А. Метаморфозы времени. От полифонии А. С. Пушкина до полифонии А. Белого / Н. А. Колосова – К.: Ин-т л-ры НАН Украины, 2006. – 403 с.
87. Кошечко А. Н. Формы экзистенциального сознания в творчестве Ф. М. Достоевского: дисс. ... докт. фил. наук: 10.01.01 / А. Н. Кошечко. – Томск, 2014. – 477 с.
88. Криницын А. Б. Творчество Достоевского в контексте европейской литературы [Электронный ресурс] / А. Б. Криницын. – Режим доступа к тексту : <http://www.portal-slovo.ru/philology/42345.php>
89. Криницын А. Б. Достоевский и Шиллер. Часть первая [Электрон. ресурс] / А. Б. Криницын. – 2012. – Режим доступа к тексту : <http://www.portal-slovo.ru/philology/45241.php>.
90. Криницын А. Б. Достоевский и Шиллер. Часть вторая [Электрон. ресурс] / А. Б. Криницын. – 2012. – Режим доступа к тексту : <http://www.portal-slovo.ru/philology/45276.php>.

91. Криницын А. Б. Достоевский и Шиллер. Часть третья [Электрон. ресурс] / А. Б. Криницын. – 2012. – Режим доступа к тексту : <http://www.portal-slovo.ru/philology/45367.php>.
92. Криницын А. Б. Достоевский и Шиллер. Часть четвертая [Электрон. ресурс] / А. Б. Криницын. – 2012. – Режим доступа к тексту : <http://www.portal-slovo.ru/philology/46077.php>.
93. Кристева Ю. Самі собі чужі / Ю. Кристева; [пер. з франц. З. Борисюк]. – К.: Основи, 2004. – 262 с.
94. Крюкова В. Немцы в России [Электрон. ресурс] / В. Крюкова. – Режим доступа : <http://ktwins.ru/etnogenez/nemci-v-rossii.html>.
95. Кудрявцев Ю. Г. Три круга Достоевского / Ю. Г. Кудрявцев. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 400 с.
96. Кулагина Е. Н. Основные теории почвенничества Ф. М. Достоевского в «Записках из мертвого дома» / Е. Н. Кулагина // Русское литературоведение в новом тысячелетии. – М., 2003. – Т.1. – С. 168-173.
97. Кулакова Е. Е. Детское начало в творческих исканиях Ф. М. Достоевского: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.01.01 [Электрон. ресурс] / Е. Е. Кулакова. – Магнитогорск, 2002. – 25 с. – Режим доступа : <http://www.dissercat.com/content/detskoe-nachalo-v-tvorcheskikh-iskaniyakh-f-m-dostoevskogo>
98. Кунильский А. Е. Смех Достоевского: прав ли Бахтин? / А. Е. Кунильский // Знание. Понимание. Умение. – 2007. – № 4. – С. 148-154.
99. Куприянов А. И. Поляки в представлениях русских (1760-1860-е гг.) [Электрон. ресурс] / А. И. Куприянов. – 1997. – Режим доступа : <http://www.auditorium.ru/books/766/ch1gl3.pdf>
100. Кустовская М. А. Концепция «живой жизни» в творчестве Ф. М. Достоевского [Электрон. ресурс] / М. А. Кустовская. – 2011. – Режим доступа : [http://poetica.pro/files/redaktor\\_pdf/1430310908.pdf](http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1430310908.pdf)
101. Кэмпбелл Дж. Пути к блаженству. Мифология и трансформация личности / Дж. Кэмпбелл. – М. : Открытый мир, 2006. – 320 с.



102. Лаговский Б. Поляки – как из Достоевского [Электрон. ресурс] / Б. Лаговский. – 2008. – Режим доступа : <http://www.przeгляд-tygodnik.pl/index.php?...ul&id=14058>
103. Лазари А. В кругу Достоевского. Почвенничество / Анджей де Лазари; пер. М. В. Лескинен, Н. М. Филатов. – М. : Наука, 2004. – 207 с.
104. Лазновская Г. Ю. Франция и французы в восприятии русской интеллигенции второй половины XIX в.: автореф. дисс. ... канд. ист. наук : спец. 24.00.01/ Г. Ю. Лазновская. – Волгоград, 2009. – 27 с.
105. Лаут Р. Философия Достоевского в систематическом изложении / Р. Лаут; [пер. с нем. И. С. Андреевой, под ред. А. В. Гулыги ]. – М. : Республика, 1996. – 447 с.
106. Лебедева Н. М. Русский национальный характер / Н. М. Лебедева // Вестник Российской Академии наук. – 2004. – №2. – С. 138-146.
107. Леви-Стросс К. Структурная антропология / К. Леви-Стросс. Пер. с фр. В. В. Иванова. – М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 512 с.
108. Левинтов А. Е. Достоевский и евреи. Еврейская месть / А. Е. Левинтов [Электрон. ресурс] // Журнал «Заметки по еврейской истории». – 2005. – №1(50). – Режим доступа : <http://berkovich-zametki.com/2005/Zametki/Nomer1/Levintov1.htm>
109. Лихачев Д. С. О национальном характере русских / Д. С. Лихачев // Вопросы философии. – 1990. – №4. – С. 3-6.
110. Логинова Н. И. Формы и функции комического в романах Ф. М. Достоевского: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.01.01 / Н. И. Логинова. – Москва, 1999. – 22 с.
111. Лосев А. Ф. Диалектика мифа / А. Ф. Лосев // Миф. Число. Сущность. – М. : Мысль, 1994. – С. 5-217.
112. Лосский Н. О. Характер русского народа [Электрон. ресурс] / Н. О. Лосский // Философия и жизнь. – 1991. – №2. – С. 35-60. – Режим доступа : [http://www.cisdf.org/TRM/TRM12/lossky\\_n.o\\_12.html](http://www.cisdf.org/TRM/TRM12/lossky_n.o_12.html)

113. Мацкевич С. Достоевский. Достоевский и Европа [Электрон. ресурс] / С. Мацкевич // Новая Польша. – 2011. – № 2. – Режим доступа : <http://www.novpol.ru/index.php?id=1442>
114. Мелетинский Е. М. Заметки о творчестве Достоевского / Е. М. Мелетинский. – М. : РГГУ, 2001. – 109 с.
115. Милош Ч. Достоевский и религиозное воображение Запада [Электрон. ресурс] / Ч. Милош. – Режим доступа : [http://www.vladivostok.com/speaking\\_in\\_tongues/milosz.htm](http://www.vladivostok.com/speaking_in_tongues/milosz.htm)
116. Милош Ч. Россия / Ч. Милош // Старое литературное обозрение. –2001. – №1. – С. 161-167.
117. Миллионщикова Т. М. Почвенничество / Т. М. Миллионщикова // Литературная энциклопедия терминов и понятий. – М. : Интелвак, 2003. – С. 776-778.
118. Мильдон В. И. Русская идея в конце 20 века / В. И. Мильдон // Вопросы философии. – 1996. – №3. – С. 46-56.
119. Мочульский К. В. Достоевский. Жизнь и творчество / К. В. Мочульский. – Париж: YMCA-PRESS, 1947. – 561 с.
120. Мухина С. А. Феномен комического в творчестве Ф. М. Достоевского 1864-1881 гг.: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.01.01 [Электрон. ресурс] / С. А. Мухина. – Москва, 2012. – 26 с. – Режим доступа : <http://www.dissercat.com/content/fenomen-komicheskogo-v-tvorchestve-fm-dostoevskogo>
121. Наливайко Д. С. Доминанты национальных культур и межнациональные литературные общения / Д. С. Наливайко // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. – 1990. – Т. 49. – С. 108-118.
122. Наседкин Н. Н. Достоевский: энциклопедия [Электрон. ресурс] / Н. Н. Наседкин. – М. : Алгоритм, 2003. – Режим доступа : [http://www.niknas.hop.ru/4dost/1dost\\_enz/dost\\_enz.htm](http://www.niknas.hop.ru/4dost/1dost_enz/dost_enz.htm)

123. Невшупа И. Н. Роман Ф. М. Достоевского «Подросток»: типы и архетипы: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.01.01 / И. Н. Невшупа. – Краснодар, 2007. – 21 с.
124. Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время» 1861-1863/ В. С. Нечаева. – М. : Наука, 1972. – 316 с.
125. Никольский Е. В. Изображение представителей польского народа у Всеволода Соловьева и Федора Достоевского / Е. В. Никольский // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки: Серія «Філологічні науки. Літературознавство». – 2013. – № 3 – С. 99-105.
126. Никольский С. А. «Подпольность» как мессианский национализм: трагическая ошибка Достоевского / С. А. Никольский // Вопросы философии. – 2013. – № 7. – С. 109-120.
127. Ницше Ф. Из наследия /Ф. Ницше // Иностранная литература. – 1990. – №4. – С. 186-196.
128. Новаковский Е. Польша – Россия [Электрон. ресурс] / Е. Новаковский. – 2005. – Режим доступа : <http://www.inosmi.ru/translation/219003.html>.
129. Новая философская энциклопедия / Режим доступа : <http://iph.ras.ru/enc.htm>
130. Нотин Л. Достоевский как зеркало русской культуры [Электрон. ресурс] / Л. Нотин. – 2010. – Режим доступа: [http://aworld.lib.ru/n/notin\\_l/fedordostoewskijkakzerkalorusskojkulxtury.shtml](http://aworld.lib.ru/n/notin_l/fedordostoewskijkakzerkalorusskojkulxtury.shtml)
131. Оболенская С. В. Образ немца в русской народной культуре XVIII-XIX веков / С. В. Оболенская // Одиссей. Человек в истории. 1991. – М. : Наука, 1991. – С. 160-185.
132. Оболенская С. В. Русские и европейцы. Поиски русской национальной идентичности у Достоевского / С. В. Оболенская // Одиссей. Человек в истории. Личность и общество: проблемы самоидентификации: сб. статей. – М. : Наука, 1998. – С. 282-302.
133. Одинокое В. Г. Типология образов в художественной системе Ф. М. Достоевского / В. Г. Одинокое. – Новосибирск: Наука, 1981. – 145 с.

134. Одиссей: Человек в истории. 1993. Образ «другого» в культуре. – М. : Наука, 1994. – 336 с.
135. Онищенко Е. В. Сущность социально-философских идей Ф. М. Достоевского: дисс. ... канд. филос. наук: 09.00.11 / Е. В. Онищенко. – Москва, 2006. – 185 с.
136. Орехов В. В. Русская литература и национальный имидж: (Имагологический дискурс в русско-французском литературном диалоге) / В. В. Орехов. – Симферополь: АнтикВА, 2006. – 608 с.
137. Осипов А. И. Ф. М. Достоевский и христианство [Электрон. ресурс] / А. И. Осипов. – 1996. – Режим доступа : <http://consensus-patrum.ru/dostoevskij-i-xristianstvo>
138. Панченко А. К исследованию «еврейской темы» в истории русской словесности: сюжет о ритуальном убийстве / А. К. Панченко // Новое литературное обозрение. – 2010. – № 104. – С. 79-113.
139. Папилова Е. В. Художественная имагология: немцы глазами русских (на материале литературы XIX в.): автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.01.08 / Е. В. Папилова. – М., 2013. – 21 с.
140. Петроченко М. Н. Семантический компонент «свой/чужой» в фольклорном и диалектном бытовом текстах: автореф. дис. ... канд. филол. наук: спец.10.02.01 / М. Н. Петроченко. – Томск, 2005. – 23 с.
141. Плетнев Р. В. Земля (Из работы «Природа в творчестве Достоевского») / Р. В. Плетнев // О Достоевском: сб. статей / [под редакцией А. Л. Бема]. – М. : Русский путь, 2007. – С. 152-158.
142. Поддубная Р. Н. Особенности публицистического мышления Достоевского 1860-х годов и формирование романной поэтики писателя / Р. Н. Поддубная // Вісн. Харк. ун-ту. – 1982. – №237: Дослідження з російського і українського мовознавства і літературознавства. – С. 23-33.
143. Полубояринова Л. Н. Европейские связи Ф. М. Достоевского: подходы российской компаративистики [Электрон. ресурс] / Л. Н. Подубояринова. – Режим доступа : <http://www.revistas.usp.br/rus/article/view/88708/91585>

144. Померанц Г. С. Загадочная английская душа [Электрон. ресурс] / Г. С. Померанц. – 1994. – Режим доступа : [http://www.niworld.ru/Statei/pomerants/Zag\\_ang\\_dusha.htm](http://www.niworld.ru/Statei/pomerants/Zag_ang_dusha.htm)
145. Померанц Г. С. Открытость бездне: Встречи с Достоевским / Г. С. Померанц. – М. : Сов. писатель, 1990. – 384 с.
146. Поник М. В. Поэтика имени в романистике Ф. М. Достоевского: дисс. канд. филол. наук: спец. 10.01.01 / М. В. Поник. – Симферополь, 2014. – 218 с.
147. Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история / Б. Ф. Поршнев. – М. : Наука, 1979. – 256 с.
148. Потебня А. А. Миф и слово / А. А. Потебня. – М. : Высш.школа, 1990. – 344 с.
149. Пумпянский Л. В. Достоевский и античность [Электрон. ресурс] / Л. В. Пумпянский // Нева. – 2011. – №12. – С. 217-233. – Режим доступа : <http://magazines.russ.ru/neva/2011/12/p19.html>
150. Пумпянский Л. В. Достоевский как трагический поэт/ Л. В. Пумпянский// Классическая традиция: собр. тр. по истории русской литературы. – М.: ОГИ, 2000. – С. 558-562.
151. Радбиль Т. Б. Достоевский и Платонов (Идеологемы Старого и Нового времени) / Т. Б. Радбиль // Слово Достоевского: сб. статей. – М. : Азбуковник, 2001. – С. 132-145.
152. Розанов В. В. О Достоевском / В. В. Розанов. – Режим доступа : [http://www.vehi.net/rozanov/dost.html#\\_edn1](http://www.vehi.net/rozanov/dost.html#_edn1)
153. Розенблюм Л. М. Творческие дневники Достоевского / Л. М. Розенблюм. – М. : Наука, 1981. – 367 с.
154. Сараскина Л. И. Ф. М. Достоевский. «Бесы». Антология русской критики / Л. И. Сараскина. – М. : Согласие, 1996. – 752 с.
155. Сараскина Л. И. Ф. М. Достоевский и «восточный вопрос» / Л. И. Сараскина // The Dosloevsky Journal. – 2001. – №2. – С. 87-102.
156. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм / Ж.- П. Сартр // Сумерки богов. – М. : Политиздат, 1990. – С. 319-344.

157. Седельникова О. В. О формировании почвеннических взглядов в мировоззрении раннего Достоевского / О. В. Седельникова // Достоевский. Материалы и исследования: в 19 т. / [отв. ред. Н. Ф. Буданова, И. Д. Якубович]. – СПб. : Наука. – Т. 16. – 2001. – С. 62-79.
158. Серман И. Нашёл ли Пушкин формулу русской истории? / И. Серман // Вопросы литературы. – 2007. – № 2 – С. 239-250.
159. Сизов В. С. Русская идея в мирозерцании Ф. М. Достоевского: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 09.00.03 / В. С. Сизов. – Киров, 1999. – 19 с.
160. Скалинская Е. Достоевский глазами поляков: О книге Марека Ведемана «Полонофил или полонофоб? Достоевский в польской словесности. 1847-1897» [Электрон. ресурс] /Е. Скалинская// Новая Польша. – 2011. – №12. – Режим доступа : <http://www.novpol.ru/index.php?id=1488>
161. Славянофильство: pro et contra / сост. В. А. Фатеев. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2009. – 1056 с.
162. Сканлан Д. Достоевский как мыслитель / Д. Сканлан; [пер. Д. Васильев, Н. Киреева]. – СПб. : Академический проект, 2006. – 255 с.
163. Смирнова Т. В. Концепция признания в свете христианской антропологии / Т. В. Смирнова // Известия Уральского федерального университета. Сер. 3, Общественные науки. – 2014. – № 2 (128). – С. 30-38.
164. Соловей Т. Д., Соловей В. Д. Несостоявшаяся революция. Исторические смыслы русского национализма / Т. Д. Соловей, В. Д. Соловей. – М. : Феория, 2009. – 440 с.
165. Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского / В. С. Соловьев // Сочинения в 2 т. – Т.2. – М. : Мысль, 1988. – С. 289-318.
166. Соловьев В. С. Национальный вопрос в России / В. С. Соловьев. – М. : АСТ, 2007. – 530 с.
167. Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам / И. И. Срезневский. – СПб. : Типография императорской Академии наук. – 1912. – 1684 с. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа : <http://adverbium.org/ru/sreznevsky-materialy-dla-slovaria3>

168. Стемповский Е. Поляки в романах Достоевского / Е. Стемповский // Новая Польша. – 2000. – № 7-8. – С. 54-67.
169. Степанова Т. А. Художественно-философская концепция детства в творчестве Ф. М. Достоевского: дисс. ... канд. филол. наук: 10.01.01 [Электрон. ресурс] / Т. А. Степанова – Москва, 1989. – 199 с. – Режим доступа : <http://www.dissercat.com/content/khudozhestvenno-filosofskaya-kontseptsiya-detstva-v-tvorchestve-f-m-dostoevskogo>
170. Степанян К. А. Явление и диалог в романах Достоевского / К. А. Степанян. – СПб. : Крига, 2010. – 400 с.
171. Степанян К. А. Трагедия Хроникера: роман «Бесы» недоговоренное пророчество К. А. Степанян // Достоевский и мировая культура. – Альманах. – 1993. – №1. – С. 121-144.
172. Страхов Н. Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском / Н. Н. Страхов // Достоевский Ф. М. в воспоминаниях современников: в 2-х томах. – М. : Художественная литература, 1990. – Т.2. – С. 375-533.
173. Сырица Г. С. Поэтика портрета в романах Ф. М. Достоевского: монография/ Г. С. Сырица. – М. : Гнозис, 2007. – 407 с.
174. Сыромятников О. И. Особенности воплощения русской идеи в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»: дисс. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / О. И. Сыромятников – Пермь, 2004. – 232 с.
175. Тарасов Б. Н. Тайна человека и тайна истории: непрочитанный Чаадаев, непрочитанный Тютчев, непрочитанный Достоевский / Б. Н. Тарасов. – М. : Алетейя. – 2012. – 352 с.
176. Титянин К. А. Художественный аспект почвенничества Достоевского / К. А. Титянин // Достоевский и славянский мир: материалы республиканской научно-теоретической конф. (Винница, 22-23 ноября 1996 г.). – Винница, 1996. – С. 55-56.
177. Тихомиров Б. Н. «Лазарь! Гряди вон». Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в современном прочтении: Книга-комментарий / Б. Н. Тихомиров. – СПб. : Серебряный век, 2005. – 472 с.

178. Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ: Исследования в области мифопоэтического / В. Н. Топоров. – М. : Прогресс Культура, 1995. – 624 с.
179. Трофимов С. К. Россия и Запад. Формирование воззрений Ф. М. Достоевского в споре славянофилов и западников / С. К. Трофимов // Русское литературоведение в новом тысячелетии. – М. : Русское литературоведение, 2003. – С. 295-298.
180. Туниманов В. А. Творчество Достоевского (1854-1962) / В. А. Туниманов. – Л.: Наука, 1980. – 294 с.
181. Тынянов Ю. Н. Достоевский и Гоголь (к теории пародии) / Ю. Н. Тынянов // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М. : Наука, 1977. – С. 198-226.
182. Углик Я. Образ поляков в романах и публицистике Ф. М. Достоевского [Электрон. ресурс] / Я. Углик // Toronto Slavic Quarterly. – №37. – 2011. – С. 135-149. – Режим доступа : [http://sites.utoronto.ca/tsq/37/tsq37\\_uglik.pdf](http://sites.utoronto.ca/tsq/37/tsq37_uglik.pdf)
183. Успенский Б. А. Поэтика композиции / Б. А. Успенский. – Спб.: Азбука, 2000. – 352 с.
184. Флоровский Г. В. Религиозные темы Достоевского / Г. В. Флоровский // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931 годов. – М. : Книга, 1990. – С. 386-391.
185. Фридендер Г. М. У истоков «почвенничества» / Г. М. Фридендер // Известия АН СССР. Серия Литературы и языка. – 1971. – Т. 30. – Вып. 5. – С. 400-409.
186. Фридендер Г. М. Достоевский и мировая литература / Г. М. Фридендер. – Л. : Сов. писатель, 1985. – 456 с.
187. Хуснулина Р. Р. Английский роман XX века и наследие Достоевского / Р. Р. Хуснулина. – Казань: Изд-во Казанского гос. ун-та, 2005. – 260 с.
188. Чернышевский Н. Г. «Русская беседа» и ее направление / Н. Г. Чернышевский // Письма без адреса. – М. : Советская Россия. – 1986. – 368 с. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа : [http://az.lib.ru/c/chernyshewskij\\_n\\_g/text\\_0550.shtml](http://az.lib.ru/c/chernyshewskij_n_g/text_0550.shtml)



189. Чижевский Д. И. К проблеме двойника (Из книги о формализме в этике) / Д. И. Чижевский // О Достоевском: сб. статей / [ под редакцией А. Л. Бема]. – М. : Русский путь, 2007. – С. 54-73.
190. Чирков Н. М. О стиле Достоевского. Проблематика. Идеи. Образы / Н. М. Чирков. – М. : Наука, 1967. – 304 с.
191. Чудаков А. П. Слово – вещь – мир: От Пушкина до Толстого / А. П. Чудаков. – М. : Современный писатель, 1992. – 317 с.
192. Шаулов С. С. «Случайное семейство» как система взаимоотражений / С. С. Шаулов // Достоевский и мировая культура: Альманах. – СПб. : Серебряный век, 2003. – № 18. – С. 105-113.
193. Шестаков В. П. Английский национальный характер и его восприятие в России / В. П. Шестаков // Россия и Запад: диалог или столкновение культур. – М. : Рос. ин-т культурологии, 2000. – С. 85-117.
194. Шкловский В. Б. За и против. Заметки о Достоевском/ В. Б. Шкловский. – М. : Советский писатель, 1957. – С. 142-143.
195. Шмид В. Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард / В. Шмид. – М. : ИНАПРЕСС. – 1998. – 354 с.
196. Шмид В. Нарратология / В. Шмид. – М.: Языки славянской культуры. – 2003. – 312 с.
197. Шпидлик Т. Русская идея: Иное видение человека/ Т. Шпидлик. – СПб. : Издательство О. Абышко, 2006. – 464 с.
198. Штейнберг А. З. Система свободы Достоевского/ А. З. Штейнберг. – Берлин: Скафы, 1923. – 146 с.
199. Щенников Г. К. Проблема «человек и семья» в размышлениях Ф. М. Достоевского / Г. К. Щенников // Человек. Семья. Государство. – СПб., 2008. – С. 22-26.
200. Электронная еврейская энциклопедия [Электрон. ресурс]/ ред. Кипнис М., Прат Н. – 2006. – Режим доступа : <http://www.eleven.co.il>
201. Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения / М. Элиаде. – М. : Ладомир, 1999. – 488 с.

202. Энгельгардт Б. М. Избранные труды / Б. М. Энгельгардт. – СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1995. – 328 с.
203. Энгельгард Б. М. Идеологический роман Достоевского / Б. М. Энгельгард // Достоевский. Статьи и материалы. – М. : Мысль, 1924. – С. 71-109.
204. Эриксон Э. Детство и общество / Э. Эриксон. – СПб. : Ленато, АСТ, Фонд «Университетская книга», 1996. – 592 с.
205. Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов / К. Г. Юнг; [пер. с англ. В. И. Ментулина]. – М. : Совершенство, 1997. – 383 с.
206. Ямпольский М. Б. Ткач и визионер: Очерки истории репрезентации, или о материальном и идеальном в культуре / М. Б. Ямпольский. – М. : Новое литературное обозрение, 2007. – 616 с.
207. Paris B. J. Dostoevsky's Greatest Characters: A New Approach to «Notes from the Underground», «Crime and Punishment», and «The Brothers Karamozov» / B. J. Paris. – N.Y. : Palgrave Macmillan; 2008. – 237 p.
208. Schwiderska M. Das literarische Werk Dostoevskijs aus imagologischer Sicht mit besonderer Berücksichtigung der Darstellung Polens / M. Schwiderska. – Muenchen, 2001. – 499 s.
209. Jones M. V. The Enigma of Mr. Astley / M. V. Jones// Dostoevsky Studies: New Series, 2002. – Vol. 6. –P. 39-47.
210. Jovanovic M. Техника романа тайн в «Бесах» / Milivoje Jovanović [Электрон. ресурс] // Dostoevsky studies. –V.5. – 1984. – P. 4-36. – Режим доступа : <http://www.utoronto.ca/tsq/DS/05/003.shtml>
211. Mijiferjyan T. V. Образ повествователя в структуре романа «Идиот» / T. V. Mijiferjyan // Facta Universitatis. – Series Linguistics and Literature. – V.2. – №10. – 2003. – P. 367-373.